

**Проблемы становления языка теории и истории государственного и муниципального управления. Статья четвертая: Язык истории государственного управления в России.**

*«Содержание создает формы, но и формы хранят и оберегают содержание».  
Архимандрит Рафаил (Карелин).*

В трех предыдущих статьях, посвященных становлению языка теории и истории государственного и муниципального управления, мы рассмотрели некоторые проблемы языка теории ГМУ. [1] В данной статье предметом рассмотрения является язык истории ГМУ как в собственно научном, так и в учебном аспекте.[2] Необходимость рассмотрения последнего обусловлена тем обстоятельством, что студенты специальности «Государственное и муниципальное управление», изучающие учебный курс «История государственного управления в России», по многолетним наблюдениям автора испытывают все более заметные трудности в понимании терминологии предшествующих эпох (причем в последние годы в особенности терминологии советского периода истории). Необходимость обращения теоретическому аспекту проблемы связана с тем, что в отечественной научной литературе автору неизвестны работы, специально посвященные языку истории государственного управления в России. Скорее всего, таких работ просто нет, поскольку отсутствуют и специальные работы, посвященные языку истории (обратившись к профессиональным историкам с вопросом подсказать такую литературу, автор получил совет спросить об этом филологов, тогда как последние адресовали автора вновь к историкам). Таким образом, обращение к языку исторического знания обнаруживает поистине удивительное обстоятельство: «язык истории» до

---

\*© Овчинников А.П., 2013 *Овчинников Александр Павлович* – доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского государственного университета

настоящего времени не стал предметом исторической рефлексии, профессиональные историки проблемой языка своей науки не озаботились. И. Берлин, например, анализируя трудности объяснения в историческом знании (при использовании дедуктивного метода), прямо указывает на то обстоятельство, что в отличие от языка других наук язык истории представляет собой обычный разговорный язык. [3; 51] Призыв уделить внимание «языку историка» автор впервые обнаружил в выступлении проф. Ватлина А.Ю. (истфак МГУ) в его выступлении на международной научной конференции на историческом факультете МГУ в декабре 2011 г., в котором последний обронил фразу, что «проблема «языка историка» могла бы стать темой следующей конференции такого же масштаба, как и сегодняшняя». [4; 31].

Настоящая статья, разумеется, претендует лишь на постановку вопроса в общеисторическом аспекте и обозначение некоторых контуров ответа на методологический аспект проблемы. Автор полагает, что и в том, и в другом аспекте решения проблем языка ГМУ методологически плодотворным может быть принцип дополнительности, на который автор опирался в предшествующих статьях цикла. [5; 42-43]

Обратимся вначале к работам классиков исторической науки, как отечественным, так и зарубежным. С.М. Соловьев в «Исторических письмах» отпустил всего лишь одно, но в методологическом отношении весьма ценное замечание о языке периода формирования русской государственности: «И вот, из князей Рюриковичей, потомства князей великих и удельных, из пришлых Гедиминовичей, из старой дружины Московской и из дружин всех присоединенных русских областей образовалось ... что образовалось? Не знаем что: ни в одном древнем памятнике нет слова. *Нет слова – значит, не было и ясного понятия, не сложился и самый предмет определенно*». [6; 201] В.О Ключевский посвятил вопросам языка истории значительную по размерам работу «Терминология русской истории». [7; 94 - 224] Не обращаясь к методологическим аспектам изучения языка истории,

Ключевский дал словарь (тезаурус) исторических терминов, расположив их при этом не в алфавитном порядке, а «по разрядам обозначаемых ими бытовых явлений» - вначале термины политические, затем юридические и экономические. [7; с. 94] Способ составления Ключевским терминологического словаря и сегодня эффективно используется в гуманитарном знании. [8] В целях более глубокого изучения учебной дисциплины «История государственного управления в России» работу В.О. Ключевского следовало бы продолжить силами коллектива авторов. Такой подход, который можно назвать прагматическим, решает проблему **понимания** исторических терминов в каждом конкретном случае, но оставляет за рамками работы общий вопрос о специфике исторического языка и проблему адекватности восприятия современниками словаря исторического прошлого.

Определенные усилия в решении этой общей задачи предприняли зарубежные историки.

Так, основатели школы «Анналов» Люсьен Февр и Марк Блок обратили внимание на некоторые стороны языка европейской истории. Л. Февр опирался на положение лингвистики, утверждавшей, что «всякое языковое явление знаменует собой определенный шаг в развитии общества». С. 20 – Бои за историю. В статье «Суд совести истории и историка» Л. Февр, характеризуя тексты, с которыми работает историк как «человеческие тексты», а слова, их составляющие, как насыщенные человеческой сутью, обращает внимание на то, что сами эти слова не остаются неизменными: «у каждого из этих слов - своя история, каждое в разные эпохи звучит по-разному, и даже те из них, что относятся к материальным предметам, лишь изредка полностью совпадают по смыслу, лишь изредка обозначают равные или равноценные свойства». [9; 19-20]. В статье «Цивилизация: эволюция слова и группы идей» Февр на примере понятия «цивилизация» попытался показать, в какой степени изучение истории понятия способно обогатить историческую науку. [10; 239 – 281].

Марк Блок в труде «Апология истории или ремесло историка» посвятил отдельный параграф (главы четвертой) исторической терминологии. [11] Отмечая, что «всякий анализ прежде всего нуждается в орудии – в подходящем языке, способном точно очерчивать факты с сохранением гибкости, чтобы приспособливаться к новым открытиям, в языке – и это главное – без зыбких и двусмысленных терминов», он констатировал, что *«это и есть наше слабое место»* и, цитируя Поля Валери, еще раз подчеркнул: *«Решающий момент, когда четкие и специальные определения и обозначения приходят на смену понятиям, по происхождению туманным и статическим, для истории еще не наступил»*. [11; 89]. Задавая себе вопрос, почему же этот момент до сих пор не наступил, Блок прежде всего указывает, что в естественных науках (химии) вещества сами себя не называют, в науках же о человеке и в истории в частности исследователь собственный словарь получает от самого предмета его занятий, при этом «она берет его, когда он истрепан и подпорчен долгим употреблением, а вдобавок часто уже с самого начала двусмыслен, как всякая система выражения, не созданная строго согласованным трудом специалистов». С. 90. Описывая противоречивую ситуацию, в которую попадает историк, работающий с документами той или иной эпохи, Блок пишет: «Документы стремятся навязать нам свою терминологию; если историк к ним прислушивается, он пишет всякий раз под диктовку другой эпохи. Но сам-то он, естественно, мыслит категориями своего времени, а значит, и словами этого времени». [11; 90]. По мысли М. Блока, историку, таким образом, поневоле приходится ориентироваться и на прошлое, и на настоящее, и эти *«две различные ориентации почти неизбежно делят между собой язык истории»*. [12] Сам Блок, однако, был чужд «импрессионистским» веяниям в исторической науке, считая, что труд историка есть своеобразное мастерство, но, как всякое мастерство, он нуждается в точных методах и приемах работы, и в понимании мышления людей других эпох особенно много даст анализ языка людей этих эпох. В

языке фиксируются изменения в жизни общества, в общественном сознании. Блок замечает, что не всегда заметные для современников коррективы смысла слов носят неслучайный характер, они отражают изменения общественных институтов и систем ценностей и, таким образом, могут дать историку материал, который отсутствует в прямом тексте.

С иронией М.Блок замечает, что «полагать, что терминологии документов вполне достаточно для установления нашей терминологии, означало бы допустить, что документы дают нам готовый анализ». [11; 96].

В указанной выше работе М. Блока есть еще несколько важных для понимания языковой ситуации историка моментов. Во-первых, как замечает Блок, изменения вещей далеко не обязательно влекут за собой изменения в названиях, и особенно медленно и незаметно это происходит с нематериальными явлениями в жизни людей; во-вторых, исчезновения слов могут быть связаны не с изменением реальности, а с процессами внутреннего преобразования языка; в-третьих, (особенно) в условиях средневековья идентичные явления могут обозначаться разными терминами; в-четвертых, в отличие от естественных наук в истории не существует системы символов, не связанных с каким-либо национальным языком, и потому историк, описывающий иностранные реалии, вынужден делать перевод (добавим: который иногда сделать крайне затруднительно или просто невозможно); в-пятых, Блок указывает на опасности «эмоциональных излучений», которые несут с собой многие слова, а «влияние чувств редко способствует точности языка». [11; 97]

И, пожалуй, самое обычное для историка: «Историк редко определяет. Он мог бы, пожалуй, считать это излишним трудом, если бы черпал из запаса терминов, обладающих точным смыслом. Но так не бывает, и историку приходится даже при употреблении своих «ключевых слов» руководствоваться только инстинктом. Он самовластно расширяет, сужает, искажает значения, не предупреждая читателя и не всегда сознавая это». [11; 99]. При этом механическим слиянием языков эту проблему не решить:

«Если поставить рядом языки разных историков, даже пользующихся самыми точными определениями, из них не получится язык истории». [11; 99]. Такой взгляд прямо вытекает из блоковского понимания истории как мастерства: в мастерстве непременно присутствует наряду с некоторой долей научного знания изрядная доля искусства мастера, несущая на себе неповторимый отпечаток его личности. Обращение к трудам историков, как прошлого, так и современности, позволяет обнаружить огромное разнообразие языковых оттенков и самих языков изложения исторического материала, гипотез и концепций. В некоторых случаях язык историка незначительно отличается от языка художника: он эмоционально насыщен, пестрит множеством метафор и других тропов, отличается стилистическим своеобразием и т.д. Даже в самом сухом историческом тексте присутствует момент художественного, создаваемый, иногда помимо воли историка, самой магией слов прошлого.

В исторических науках, как и в социологии, исследование объекта сегодня принято начинать со стадии понимания, лишь затем переходя к объяснению (М. Вебер, А. Про и др.). Сходного мнения придерживался Ж.-П. Сартр: «Чтобы постичь смысл человеческого поступка, надо обладать тем, что немецкие психиатры и историки называли «пониманием». Но я здесь веду речь не о каком-то особом даре и не о специфической способности интуиции: это познание есть просто диалектическое движение, которое объясняет действие через его конечное значение исходя из отправных условий». [13; 142].

Но поскольку мы имеем в истории дело с историческими текстами, терминологией предшествующих этапов истории, *пониманию*, то есть *осознанию смысла*, должно предшествовать *знание*, то есть *усвоение значения* того или иного термина. Именно по этой схеме построена цитированная выше работа В.О. Ключевского. [7] Разумеется, суть понимания в «понимающей истории государственного управления в России» не в этом, языковое «понимание» лишь предпосылка, но предпосылка необходимая.

Известный логик и философ К.Г. Гемпель в работе «Функция общих законов в истории» пишет, что задача исторической науки – это, во-первых, объяснение и предсказание; во-вторых, это «так называемое понимание». [14; 28]. Указание на **недостаточность знания и необходимость понимания** стало уже общим местом в социально-гуманитарном знании. Сама по себе такая стадия в развитии знания была, видимо, необходима для более глубокого осознания различных аспектов, улавливания смысловых оттенков в познании социальных явлений; она многое дала нашим наукам. Но не переходим ли мы некую разумную грань, противопоставляя понимание знанию, равно как и в непременном стремлении по каждому поводу рядом со знанием поставить и понимание в качестве отдельной сущности?

Гемпель, говоря о позиции некоторых исследователей, считающих, что «объяснение, или понимание, человеческих действий требует эмпатического понимания личностей действующих агентов», высказывает мнение, что «такое понимание другой личности в терминах собственного психологического функционирования может быть полезной эвристической идеей в поисках общих психологических принципов, которые обеспечат теоретическое объяснение; но существование эмпатии со стороны ученого не является ни необходимым, ни достаточным условием для объяснения или научного понимания какого-либо человеческого действия». [14;10]. Гемпель указывает, что поведение людей другой культуры, душевнобольных или просто осуждаемого нами человека (преступника, например) для научного объяснения или понимания никакой эмпатии не требует, более того, эмпатия может как раз привести к совершенно неверным выводам. Эмпатические объяснения по этой причине, по Гемпелю, лишены познавательного значения, если их нельзя подвергнуть объясняющей проверке в форме законов или теорий: «Решающим требованием для любого правильного объяснения остается то, что его экспланандум (это предложение, описывающее объясняемое явление, но не само явление – А.О. – [14; 91])», должен подводиться под общие законы». [14;105].

Рассмотрев (на с. 16-27) важность общих законов для решения этих задач истории, Гемпель пишет, что с объяснением и пониманием тесно связана интерпретация исторических событий в терминах какой-либо теории или подхода. «Интерпретации, реально предлагаемые в истории, представляют собой или подведение изучаемых явлений под научное объяснение или набросок объяснения, или попытку подвести их под некую общую идею, недоступную исторической проверке. Ясно, что в первом случае интерпретация является объяснением посредством универсальных гипотез (Гемпель использует это термин вместо понятия «закон» как равнозначный [14;16]); во втором случае она является псевдо-объяснением, обращенным к эмоциям и вызывающим живые зрительные ассоциации, но не углубляющим наше теоретическое понимание рассматриваемого события». [14; 28].

То же самое относится и к процедуре приписывания «значения» конкретным историческим событиям: «их научный смысл состоит в определении того, какие другие события существенно связаны – в качестве «причин» или «следствий» - с изучаемым событием; а утверждение соответствующих связей опять-таки предполагает форму объяснения или наброска объяснения (последнее отличается от первого полнотой – А.О.), включающего универсальные гипотезы...» [14;28].

Гемпель обращает также внимание на то, что в исторических исследованиях часто обращаются к изучению развития того или иного института от начальных фаз существования до изучаемого состояния. Следует учесть, что «описание развития учреждения не является простым описанием *всех* событий, предшествовавших ему во времени, включаются только те события, которые «важны» для формирования этого учреждения. Имеет событие или нет отношение к этому развитию – это не вопрос мировоззрения историка, а объективный вопрос, зависящий от того, что иногда называется причинным анализом возникновения данного учреждения». [14; 28 – 29].



Сходным образом ссылка на общие законы включает и использование в исторических исследованиях понятий «детерминация» и «зависимость». Что такое детерминация в естественнонаучном смысле? Это, в сущности, «очень скудное утверждение»: «с любым определенным значением одной из переменных всегда будет связано одно и то же значение другой. Это, конечно, гораздо меньше того, что имеет в виду большинство авторов, рассуждающих о детерминации или зависимости в историческом анализе. Итак, расплывчатое утверждение о том, что экономические (географические или любые другие) условия «детерминируют» развитие и изменение всех других аспектов человеческого общества, имеет объяснительное значение только постольку, поскольку его можно обосновать с помощью явных законов, четко говорящих о том, какого рода изменения в человеческой культуре регулярно следуют за определенными изменениями в экономических (географических и т.п.) условиях. Только установление конкретных законов может наполнить общий тезис научным содержанием, сделать его доступным эмпирической проверке и обеспечить его объяснительной функцией. В выработке с наибольшей точностью таких законов видится необходимое направление развития научного объяснения и понимания». [14; 30].

Исторические объяснения, по мнению К. Гемпеля (например, такие, которые даются в терминах классовой борьбы, экономических, географических условий, интересов социальных групп и т. п.), основываются на предположении существования определенных закономерностей (универсальных гипотез, на языке самого Гемпеля), которые скорее носят вероятностный, чем «детерминистический» характер: «Думается, что многие объяснения, предлагаемые в истории, подпадают под такого рода анализ: полностью и явным образом сформулированные, они утверждают определенные исходные условия и некоторые вероятностные гипотезы, такие, что появление объясняемого события становится высоковероятным при исходных условиях в свете вероятностных условий». [14; 24]. Гемпель

при этом оговаривается, что значения вероятностей будут известны лишь весьма приблизительно, и делает вывод, что объяснительный анализ в историческом исследовании дает не объяснение в обычном (естественнонаучном, например) понимании, а только некий «набросок объяснения», не поддающийся эмпирической проверке, состоящий «из более или менее смутного указания законов и исходных условий, и должен быть «дополнен» для того, чтобы стать законченным объяснением». [14; 24].

Оговоримся, что существует проблема своего рода «чрезмерности понимания». Проф. университета штата Миннесота Т. Волф, признавая, что «целью истории в современном мире всегда был непрекращающийся поиск лучшего понимания действительности» [15; 149], замечает, цитируя Дж. Лэкса, «пока мы ищем только понимание, мы ограничены воспоминаниями из прошлого», а чрезмерное внимание к прошлому, по мнению того же Лэкса, искажает наше видение настоящего. [16; 154].

«Du gleichst dem Geist, den du begreifst», поясняет доктору Фаусту Дух земли в поэме Гете (в буквальном переводе – «Ты уподобляешься другому (духу), если ты понимаешь его»). Но, как верно подметили французы в своей пословице, «Понять – значит простить»: слишком хорошо понимая другого, ты сам становишься им и, тем самым, лишаешь себя возможности и судить, и осудить. Показательна в этом отношении эволюция взглядов на внутреннюю политику И.В. Сталина такого выдающегося мыслителя, диссидента 1970-80-х гг., как А.А.Зиновьев: начав в юности с участия в кружке для борьбы со сталинизмом, в меру изучения последнего и все большего его понимания блестящий логик и философ пришел фактически к его апологии. [17]

Язык ИГУР непосредственно связан с парадигмой, подходом исследования. С марксистских позиций изложение ИГУР будет представлять собой описание того, как государственные деятели, другие участники политического процесса принимают те или иные решения, совершают определенные поступки под воздействием совокупности

объективных обстоятельств, действуя как выразители интересов тех или иных социальных групп, общественных классов. В такой системе координат государственный деятель предстает перед нами как некий социальный автомат, через посредство которого общественный класс заявляет о своем общественном интересе. Отражение интересов определенной социальной группы в восприятии, осмыслении и изложении исторических событий на так называемом оценочном (теоретическом) уровне исторического познания неизбежно выводит исследователя за пределы собственно исторического знания, что не всегда осознается исследователем: как замечает И. К. Калимонов, «*неявно* (курсив мой – А.О.) этот уровень связан с фактором, лежащим за пределами науки и отражающим общественные интересы индивидуумов или отдельных групп». [18; 157] Мы имеем дело в данном случае со своеобразными воротами (или, по меньшей мере, калиткой), через которые в историческое исследование могут проникать и проникают термины политики и политической науки, политической социологии, политической философии. Кроме того, как пишет в той же статье И. К. Калимонов, «...ни один историк не может быть свободен от мироощущения своего времени. Подсознательно или осознанно он ориентируется на достижения своего времени как в сфере теоретического, так и в сфере практического опыта...». [18; 158]

Сегодня все больше осознается значение природных факторов, властно влияющих на поведение людей (их игнорирование, поиск побудительных мотивов действий народов, социальных классов и групп только в рамках социального, в пределах самой общественной организации представляет собой в принципе вполне понятное стремление людей рационально, разумно объяснить в их поведении то, что в действительности рациональному объяснению не поддается); признается то, что человек, принимающий решение – и государственный деятель в первую очередь – находится в состоянии выбора, и этот выбор, принятое решение могут быть неправильными, основанными на иррациональных мотивах, на эмоциях,

которые возобладали над разумом. В этом случае возникает потребность обращения не только к социальной психологии, но и к изучению индивидуальных психологических особенностей человека, принимающего решение.

В понятийный аппарат ИГУР в таком случае вводится терминология социальной психологии, и даже отдельные понятия психиатрии, например, шизофрения, паранойя (феномен «карательной медицины» в СССР 1970-х гг.) как состояния политиков; правда, попытки интегрировать в ткань исторического знания элементы знаний из области психологии, а тем более – психиатрии, носят скорее отрицательный характер. [19]

Большую проблему для истории и историков составляет то обстоятельство, что история использует данные, которые предоставляют в ее распоряжение такие науки, как география, антропология, демография, социология, политология, социальная философия, экономические и другие науки. Все активнее используются и естественнонаучные методы, например, радиоуглеродный анализ предметов древности. Заимствуя данные этих наук, история вместе с ними открывает дверь собственному языку и методологии этих наук.

Современная история по своему характеру есть синтетическая система знаний, и, как таковая, она использует не только понятийный аппарат других наук, но и сформулированные в них законы. Как замечает К.Г. Гемпель, «те универсальные гипотезы (у Гемпеля – то же самое, что общие законы –А.О.) , на которые явно или неявно ссылаются историки при выработке объяснений, предсказаний, интерпретаций, оценок значимости и т.п., взяты из различных областей научного исследования, поскольку они не являются донаучными обобщениями повседневного опыта. Многие из универсальных гипотез, лежащие в основе исторического объяснения, например, могут в целом быть классифицированы как психологические, экономические, социологические и, может быть, частично, как исторические

законы. Кроме того, историческое исследование часто использует общие законы, установленные в физике, химии, биологии.» [14; 30].

Применение современных научных методов с их специфическим научным языком, опора на выводы и законы других научных областей, междисциплинарные исследования содержат потенциальную угрозу « модернизации прошлого». С другой стороны, не меньше угроз содержится в стремлении ряда современных – в основном, западных – историков беллетризировать историю, принципиально отказаться от стремления к научности исторического знания. Здесь, по-видимому, может помочь только жесткое следование правилам, предписанным теоретической моделью исследования, соблюдение способов познания и методов исследования, присущих научному знанию.

Прежде всего, историк должен опираться на документы. Применение разработанных в источниковедении правил и процедур представляет собой известную гарантию научности исследования. Видный английский историк А. Марвик, отвергая потуги постмодернистов отвергнуть историю как науку и свести ее к разновидности литературы как наивные и несостоятельные, пишет: «Никакой историк никогда не предполагает, что любой документ прозрачен, что он – прямое изложение какой-то истины. Раскрытие подлинных целей отдельного документа может стать весьма длительным процессом». [20; 164] Методологические основания и методические правила работы с источниками с присущей его трудам основательностью излагаются известным британским историком Р.Дж.Коллингвудом в работе «Идея истории». [21; 224 – 235] Именно обращение к документу, подчеркивает Коллингвуд, позволяет историку, имеющему дело с тем, чего больше нет, перенести в настоящее кое-что из прошлого, так сказать, воскресить момент прошлого: «Документ ... – вещь, существующая здесь и теперь, вещь такого рода, что историк, анализируя ее, может получить ответы на поставленные им вопросы о прошлых событиях». [21;13] Заметим, что поскольку Коллингвуд профессионально занимался

археологией периода римского владения, он относил к источникам и археологические. Этот момент подчеркивал и известный французский историк Л. Февр: «История использует тексты – это ясно как день. Но не только тексты. А и все источники, какова бы ни была их природа». [9; 20]

Итак, в исторических исследованиях существует разряд собственно исторических источников, к которым относятся в первую очередь письменные тексты, а также устные предания, которые тоже можно представить в виде текстов, и источники второго рода – археологические, т.е. материальные остатки прошлого. Но информация, которую они несут, тоже должна быть «прочитана» в них и изложена на некоем естественном языке, а затем переложена на язык исследователя.. [22] Таким образом, историк в любом случае работает с текстами, письменными описаниями.

Важным источником для истории государственного управления в России, иногда совершенно незаменимым для понимания существа той или иной проблемы ИГУ, объяснения того, как на эту проблему смотрели современники и какими они видели возможные пути и средства ее решения, является мемуарная литература и то, что к ней примыкает – очерки, путевые заметки и т.п. – даже то, что А. П. Чехов, отмечавший склонность образованных русских путешественников непременно описать увиденное и опубликовать написанное в «толстом» журнале, с иронией называл «взгляд и нечто», - ведь порой даже краткие заметки современника для понимания духа эпохи дают больше, чем целые главы академических учебников. Мы имеем здесь дело с так называемыми литературными дискурсами, совокупность которых и создает литературу в ее основе, центральной части. Но кроме этой центральной части у литературы есть область «пограничья»: «Пограничными» с одной стороны выступают тексты, в которых экстенциональная определенность, «узнаваемость» индивидов в актуальном мире, играет важнейшую роль. Это мемуары, «свидетельства», может быть, очерки, то, что французы называют *faits divers*, «подлинный случай из прессы», - область литературы, привлекающая в последние годы все большее

внимание читателя». [23;23] Понятно, что мемуарная и ей подобная литература не может быть непосредственно введена в ткань научного языка – необходима ее научная обработка. [24]

Далее выскажем некоторые общие соображения об особенностях исторического знания и языке исторической науки, важные для последующего изложения. История, относясь в соответствии с известной классификацией к понимающим наукам (то есть в большей степени к понимающим, чем к объясняющим) несет на себе сильный отпечаток личности самого историка. Понимание прошлого, его интерпретация определяются не только особенностями эпохи, в которой живет и работает историк, не только социально-политическими и социокультурными характеристиками эпохи, информационным фоном, на котором работает историк, но и его профессиональной и общей культурой, его мировоззрением, системой ценностей, установками.

Цель исторической науки - реконструкция прошлого и его анализ с позиции его значения для настоящего. Постижение смысла прошлого, воссоздание прошлого как целостности. Постижение духа эпохи, менталитета людей этой эпохи и того, как он влиял на поведение, поступки людей.

В исторической науке отсутствует наблюдение. В историческом знании прослеживается интерес к индивидуальному. Если для естествознания отправной точкой работы ученого является некое допущение, то в истории это исторический факт (событие).

Историк работает не так, как естествоиспытатель: если последний полагается на сделанное предшественниками, то историк вновь берет уже исследованные другими историками факты и заново их исследует, переосмысливает.

Историк, обращаясь к историческим свидетельствам, прежде всего обязан поставить вопрос об их достоверности. Р. Дж. Коллингвуд при этом обратил внимание на ценность всех исторических свидетельств, даже в

первом приближении малозначительных или тех, в достоверности которых есть определенные сомнения. Сами по себе такие свидетельства мало что значат, но взятые в совокупности с другими свидетельствами эпохи, они могут дать достаточно полную и ясную картину былого. [8] Знание, которым оперирует историк, донесено до нас в форме письменного пересказа (нарративная форма), а понятия, которыми оперирует историк, полисемантичны (что открывает перед исследователем объективную возможность давать собственные смысловые интерпретации) и характеризуют изучаемое явление в целом (при этом многие из схваченных понятием явлений столь значительны и многогранны, что с трудом поддаются логически непротиворечивым определениям; в таких случаях речь идет, скорее, действительно о понимании путем интуитивного схватывания, чем об объяснении, которое будет столь долгим, что не позволит от стадии интерпретации перейти к стадии прагматического пользования понятиями).

Историк обращается к конкретному прошлому, а оно индивидуально, неповторимо, содержит в себе столь много элементов материального и духовного наполнения, от которых нельзя отвлечься, что неизмеримо богаче любой абстракции, и только полисемантизм исторических понятий позволяет одним словом - пусть и приблизительно, пусть и неоднозначно – представить историческое явление в его целостности. Понятно, что в таком случае содержание понятий нельзя раскрыть через формальное перечисление значимых признаков явления; явление, событие предстает в виде имени; само же имя, как правило, извлекается историком из источника.

Отрицательную сторону этого обстоятельства для исторической науки констатировали (с определенной долей горечи) К. Хвостова и В. Финн: «В плане анализа полисемантизма исторических понятий представляется парадоксальным то обстоятельство, что несмотря на слабый консенсус в определении содержания используемых понятий, существующий в среде историков – профессионалов (даже



придерживающихся одинаковых или близких взглядов на историю и работающих в одно и то же время) в каждом конкретном исследовании отсутствует определение того содержания, которое придается понятиям. Понятие функционирует, таким образом, как некоторая целостность, а вкладываемый в него смысл существует неявно. Тот факт, что историк, как правило, не конкретизирует используемые понятия, приводит нередко к тому, что исторические дискуссии, объявленные как диспут о характере исторических явлений, в действительности представляют собой спор о содержании самих понятий. ... Денотат, т.е. фактологическое содержание понятий, и его наименование - не различаются». [25; 25] Выход находят в том, что понятия, как пишут вышеуказанные авторы, «доопределяются» в каждом конкретном исследовании [25; 26], хотя значение многих понятий все же задается неявно.

Такой взгляд на специфику исторического знания позволил К. Хвостовой и В. Финну заключить: «...в истории (равно как и в целом в гуманитарном и общественном знании) определение понятия не подразумевает однозначное вычленение его содержания и объема. Историческое понятие с точки зрения логики не столько совокупность суждений, характеризующих отличительные признаки объекта, как в других науках, сколько суждения, в которых содержится идея, т.е. направленность мысли, способствующая расставлению акцентов в изучаемом материале и имеющая контекстную природу». [25;. 28].

Понятия истории не позволяют осуществить их экспериментальную проверку; всеобщего консенсуса историков по поводу содержания понятий никогда не было достигнуто; полноты исторического знания нет и быть не может и т.д. Неполнота и неточность исторического знания приводит к тому, что наряду с истинными и ложными высказываниями часть высказываний является неопределенными.

Вместе с тем такой взгляд на неповторимость исторических событий не единственный; есть и иные мнения. Акад. И. И. Минц, например,

оспаривая невозможность в историческом исследовании выявить и исследовать исторические закономерности, писал, что «повторяемость в истории проявляется иначе, чем в естествознании. ... Повторяемость в истории проявляется, прежде всего, в том, что процессы, происходящие в одной стране, повторяют и подтверждают то, что происходит в другой стране». [26; 34] Карл Густав Гемпель индивидуальность исторических событий как отличительную особенность истории как науки отрицает: действительно, «наиболее распространенным [аргументом – А.О.] ... является идея о том, что события, включающие активность индивида или группы людей, уникальны и единичны, что делает их недоступными для причинного объяснения, поскольку последнее, основываясь на закономерностях, предполагает повторяемость объясняемого явления. ... Каждое отдельное явление в физических науках не менее, чем в психологии и социальных науках, уникально в том смысле, что, во всех своих характеристиках, не повторяется. Однако, отдельные явления могут подчиняться общим законам причинного типа, следовательно, быть объясненными с их помощью. ... причинный закон утверждает, что любое явление определенного рода, то есть любое явление, имеющее определенные специфические характеристики, сопровождается другим явлением, которое, в свою очередь, имеет определенные специфические характеристики... Все, что необходимо для проверки и применения таких законов, это повторение явлений с antecedentными характеристиками, т.е. повторение таких характеристик, но не их индивидуальных воплощений». [14; 98 – 99]

Гемпель говорит и о непонимании логического характера причинного объяснения; но, подчеркнем, что дело не только и не столько в уровне профессионализма или плохом знании логики (наличие этих обстоятельств в том или ином конкретном случае будем рассматривать как досадные недоразумения), дело в самом исходном историческом материале – историческом источнике; они крайне неоднородны в языковом, политическом, культурном, ценностном отношениях, в них ставились разные

задачи, они служили разным интересам, в том числе и целям фальсификации действительности (как мало это похоже на химические вещества или физические объекты!). На все это накладывается личность и общественно-политическая позиция историка, его собственные установки и цели, как явные, так и неявно задаваемые, наконец, ракурс исторического времени и запросы времени. Таким образом, на одном и том же исходном материале – исторических источниках – один и тот же историк в разное время может совершенно добросовестно сделать разные выводы («как это я раньше этого не видел!»), равно как в одно и то же время разные историки могут сделать разные выводы, оставаясь при этом в общепринятом смысле порядочными людьми и в профессиональном – компетентными историками.

Постановка вопроса о языке истории приводит нас к другому вопросу, предваряющему основной: о какой истории идет речь? Термин «история» может быть применен к истории Земли, истории животного мира, истории стран и государств, истории народов и социальных классов, наконец, к истории семей и отдельных людей. Видимо, именно такой вопрос привел Ф. Броделя к необходимости различать по меньшей мере три уровня (пласта) истории человечества в его книге «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», в части первой которой он пишет о трех таких историях: «почти неподвижной истории, истории человека в его взаимоотношениях с окружающей средой, медленно текущей и мало подверженной изменениям истории, *зачастую сводящейся к непрерывным повторам, к беспрестанно повторяющимся циклам*»; на этой первой истории покоится вторая – «история групп и коллективов». «история, протекающая в медленном ритме»; в свою очередь, на ней основывается третья – история «в индивидуальном измерении», «история событий». [27;20 – 21].

Спектр современных представлений о том, что есть история и может ли последняя быть объективной, дает обзор выступлений на конференции на историческом ф-те МГУ. [28; С. 3 – 40].

Известный английский историк Э. Карр однажды заметил, что история не может писаться до тех пор, пока историк не установит хоть какой-то контакт с мыслями и чувствами тех людей, о которых он пишет. Развивая эту мысль, отечественный историк Н. Эйдельман указал на опасности, подстерегающие историков на путях познания эпох прошлого: «Историки, изучающие цивилизации, достаточно удаленные во времени..., неплохо себя чувствуют, понимают опасность модернизации, подмены ранних человеческих представлений более поздними, современными. Для них обычно серьезнее опасность «перегнуть палку», слишком увлечься различиями той психологии и этой, недооценить общие законы. Иное дело – ученый, занимающийся сравнительно недавним прошлым. Ему труднее преодолеть иллюзию о «современности» изучаемых им людей, живших пятьдесят, сто, сто пятьдесят лет назад». [29; 93]. Призывая историков глядеть на исторические события «и оттуда, и отсюда», то есть из прошлого, глазами современника событий, и из настоящего (чтобы излишне не доверяться самооценкам прошлых эпох), автор предупреждает о такой крайности, как «изучение деятелей прошлого без достаточного учета действующих побудительных причин, из которых они исходили, откуда иногда – навязывание предкам не свойственных им мотивов...» [29; 96].

Излагая современникам на современном языке события прошлого, способны ли мы в принципе правильно передать смысл событий прошлого, мотивы поступков государственных деятелей и народных масс прошлого, их восприятие прошедших событий? Как представляется, права И. Василенко, деликатно указавшая на неизбежность «некоторых искажений, вносимых историей в описание политических феноменов, которые *не всегда удается расшифровать языком современной науки*». [30; 39].

На серьезные ошибки в понимании прошлого – в том числе и в связи с языком интерпретации этого прошлого – указывал А. А. Зиновьев: «Явления прошлого вырываются из их конкретно-исторического контекста. К ним применяются *чуждые им понятия* и критерии оценок, взятые из нашего

времени». [31;249]. Л. Февр в работе «История и психология» задается вопросом, каким образом историки XX века могут воспользоваться данными современной психологии – психологии людей XX века – для объяснения поступков людей далекого прошлого? При этом особую сложность составляет то обстоятельство, что совершенно разные чувства и смыслы могут описываться в одних и тех же словах. [9;102]. Ссылаясь на исторические труды Леви-Боюля и Фрэзера, Февр показывает, как разительно отличались системы ценностей человека древности и человека современного, как далек от миропонимания современного человека был средневековый француз, насколько отличался его быт от быта современного человека. [9;. 103 – 106].

В процессе преподавания и изучения истории и преподаватель, и студент сталкиваются с рядом фактов, которые, как заметил А. Шипилов, не воспринимаются современным человеком «блокируются массовым сознанием». [32; 172] Автор имел в виду некоторые особенности поведения русских писателей, богатых и знатных людей прошлых эпох. «Господствующая сегодня идеология, - пишет он, - подразумевающая естественность равенства и неестественность неравенства, не дает возможности увидеть, что в относительно недавние исторические эпохи господствовали прямо противоположные представления; наоборот, она проецируется в прошлое и реконструирует его так, что дает возможность массе присвоить культуру элиты, воспринять ее как «свою»». [32; 172].

С. Кара-Мурза, отмечая то обстоятельство, что в некоторых случаях очень трудно понять, как мыслили (о том или ином явлении, предмете) народы в стародавние времена, констатировал: «Читая переводы их старых книг, мы на самом деле читаем переложения их текстов на язык привычных нам понятий – переложение, сделанное более или менее вдумчивым и знающим переводчиком». [33;34] Вопрос этот имеет давнюю историю и восходит, в сущности, еще к концепции Люсьена Леви - Боюля, в соответствии с которой сама логическая структура первобытного человека

принципиально отличалась от таковой у современного человека. Позицию Л. Леви – Брюля и поддерживали, и опровергали. Категорическое неприятие его позиции выразил Людвиг фон Мизес: «... то, что Леви – Брюль на основе тщательного исследования всего доступного этнографического материала сообщает об умственных функциях первобытного человека, ясно доказывает, что фундаментальные логические зависимости и категории мышления и деятельности играют в умственной активности дикарей ту же роль, что и в нашей жизни. Содержание мыслей первобытного человека отличается от содержания наших мыслей, но формальная и логическая структура у тех и других общая». [34; 38]. Более того, Мизес делает общее заключение: «Ни один факт из этнографии и истории не противоречит утверждению, что логическая структура разума едина у всех людей любых рас, возрастов и стран». [34; 39].

Сходным образом рассуждал М.М. Бахтин: «Всякая система знаков (то есть всякий язык) ... принципиально всегда может быть расшифрована, то есть переведена на другие знаковые системы (другие языки); следовательно, есть общая логика знаковых систем, потенциальный единый язык языков (который, конечно, никогда не может стать конкретным единым языком, одним из языков). Но текст (в отличие от языка как системы средств) никогда не может быть переведен до конца, ибо нет потенциального единого текста текстов. Событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов». [35; 229] Таким образом, есть основания полагать, что правильно представить духовный мир человека эпох мы в состоянии. Но это не значит, что такая задача может решиться сама собой – это сложнейшая задача. Л. Февр. например, доказательно утверждает, что она не может быть решена усилиями одной науки (истории или ретропсихологии) – только коллективные усилия целого ряда наук могут дать позитивный результат (всего три века назад, пишет он, ссылаясь на многотомный труд Анри Бремона, даже отношение к

умирающим отличалось удивительной по современным понятиям жестокостью!). [9;103].

Р. Бультман (теолог, протестант), обращаясь к смерти и воскресению Христа, утверждает, что если для человека Средневековья это было естественной частью его сознания, то «современный человек лишь с большим усилием может войти в мир такого мышления, но наверняка не в состоянии сам передвигаться в нем» [36] \_ К. Хвостова и В. Финн, приводя это высказывание Бультмана, полагают, что дело в нехватке «соответствующих сведений источников». [25;32] Бультман, конечно, говорит не о недостатке фактов, а о принципиально различных картинах мира.

Если обратиться к образцам «официального» советского искусства (особенно показательны в этом отношении плакаты), то в них нет места смерти, болезням, физическим недостаткам и т. п. Практически все семь с половиной десятилетий существования советской власти воспевался культ абсолютного физического и душевного здоровья; нездоровье если и признавалось как факт повседневной жизни человека, то как временное явление, которому положит в ближайшей перспективе конец развитие науки и медицины. Решением властей в 1950-х гг. многочисленные калеки ВОВ, неприменные обитатели разного рода рынков, были либо собраны в дома инвалидов, либо имели наказ сидеть дома; точно так же оказались обречены на домашнее «заключение» дети-инвалиды. Для советского человека обычный средневековый мир, населенный многочисленными калеками, больными и увечными, мир, в котором для религиозного человека непременно и весьма значимо присутствие смерти и загробного воздаяния непонятен, страшен, шокирует воображение. Мотивация поступков, всей линии жизненного поведения таких людей для современного человека необъяснима.

Мы видим, таким образом, что логическая структура разума сохраняется неизменной, но применений разума в рамках разных

мировоззренческих систем дает нам совершенно разные результаты, настолько разные, что логика человека одной эпохи кажется абсурдной, невозможной человеку другой эпохи!. Хейзинга в «Осени Средневековья» прямо утверждает: «Мы не можем себе представить всей необычности средневековых эмоций». [37; 24]

Обращение к языку прошедших эпох открывает определенные эвристические возможности не только для изучения истории частной и общественной жизни, но и для истории государственного управления: по замечанию М. Маковского, «развитие значений слов лучше любых хроник и свидетельств современников отражает человеческие судьбы, интересы, нравы, обычаи, верования, способы мышления». [38; 5] Между тем такое междисциплинарное взаимодействие по существу не налажено.

В.В.Кожин, оценивая состояние истории русской литературы, сетовал, что последняя по сути не имеет существенной связи с плодотворно развивавшейся в последние десятилетия исторической наукой, объясняя это не произволом ревнителей своих научных «вотчин», но указывая, что это «всеобщая тяга к специализации, дифференциации научного знания привела в конце концов к отчуждению филологии и истории». [39; 40]. Книга самого В. Кожина как раз и представила собой попытку «преодолеть тот «застой», ... открыть границу между исследованиями истории русского слова и исторической наукой». [Там же]. И если В. Кожин призывал прибегнуть к помощи истории в интересах развития филологии, то что мешает историкам российского государственного управления, призвать на помощь в интересах понимания сложных моментов нашего прошлого науку о русском слове?

Известно, например, сколь велико место и роль Православия, церкви в системе государственного управления Киевской и Московской Руси, Российской империи (особенно в переломную в этом отношении эпоху Ивана 1У (Грозного) и Алексея Михайловича). Не преуменьшить, но и не преувеличить значения этого фактора истории нашей государственности



поможет обращение к истории Англии времен Генриха V111, Испании после Реконкисты (титулование королей которой включало обязательную формулу «защитник веры»), Франции, где Людовика XIУ официально именовали «наихристианнейший король» и др.). В этой связи грубейшей ошибкой историков государственного управления в России является по существу полное игнорирование грандиозного объема сведений, мнений, концепций, накопленных православными богословами за более чем тысячелетнюю историю российской государственности. Причины этого положения дел в период с 1917 по 1991 гг. известны, но много ли трудов богословов и церковных историков использовано и за последние 20 лет, например, в учебниках и учебных пособиях по истории государственного управления в России?

Недостаток трудов по сравнительной истории иногда заставляет изучающих ее полагать, что огромное место православия в жизни русского общества и государства делает нас каким-то исключением в круге цивилизованных народов, что совершенно не соответствует действительности, ибо столь же значительна, если не больше, была роль веры и церкви и у других христианских народов: вот, например, Люсьен Февр в работе «Главные аспекты одной цивилизации» перечисляет молитвы, которые ежедневно творил скромный мелкий буржуа (отнюдь не духовное лицо!) из Франш-Конте Жак Корделье; только список этих молитв занял у Февра более страницы убористого текста! [9; 335 – 336].

Способен ли современный человек понять, что двигало поступками человека средневекового, на какую систему ценностей он ориентировался? Журнал «Литературная учеба» в редакционной статье замечает: «Значение того или иного святого для наиболее глубинного – религиозного – пласта народной жизни практически невозможно исследовать в понятиях и терминах культуры, ибо культура всегда будет чем-то внешним по отношению к религиозной жизни народа. Иными словами, перевод религиозных, сакральных реалий в сферу культуры будет сопровождаться

непременным их упрощением, зачастую граничащим с опошлением, - так случается, когда многомерную фигуру переводят на плоскость». [40;119].

На определенные сложности понимания языка исторических эпох и стоящих за их употреблением смыслов указал Д. Белл на примере обращения к истории буржуазной революции в Англии: «... шла политическая борьба - страны против двора, парламента против монархии. Конечно, на кону стояли экономические интересы, но язык и риторика, в которые облекались обоснования этого противостояния, базировались на единственно знакомых населению – религиозных – терминах. Людей увлекала надежда создать ... Иерусалим на славной зеленой английской земле». [41; 15]. В качестве другого примера Д. Белл приводит Французскую буржуазную революцию: «Величайшее изменение [метаязыка] произошло во времена Французской революции. Порожденный эпохой Просвещения, верой в торжество Разума, язык стал политическим, но скрытые за ним мысли и чувства оставались религиозными». [41; 15]. Но и инверсия возможна, заявляет В. Сендеров, и она действительно проявляется: «Наше мышление по-прежнему движется в категориях позапрошлого века: западничества и почвенничества, «демократизма» и «патриотизма». [42; 95]. Ему вторит В. Живов: историку, изучающему события в России 1990-х гг., «придется начать с выработки понятийного аппарата более адекватного, чем та смесь нравственных оценок и сомнительных историсофских суждений, которыми пользуемся мы, современники». [43] Еще один момент: кумир российских либеральных гуманитариев 1990-х гг. Френсис Фукуяма, многократно цитированный по поводу и без повода, в действительности зачастую утверждал прямо противоположное тому, что ему наши либералы приписывали. В частности, он вовсе не сводил мотивы поведения людей в обществе к сугубо экономическим факторам, утверждая, напротив, что «непонимание того, что основы экономического поведения лежат в области сознания и культуры, приводят к распространенному заблуждению, при

котором материальные причины приписывают тем явлениям в обществе, которые по своей природе в основном принадлежат сфере духа». [44]

Л. фон Мизес, например, стоящий на пессимистических позициях, убежден, что «не существует способов создания апостериорной теории человеческого поведения и общественных событий. История не может ни доказать, ни опровергнуть ни одного общего утверждения, подобно тому, как естественные науки принимают или отвергают гипотезы на основе лабораторных экспериментов. В этой сфере невозможны ни экспериментальное подтверждение (верификация), ни экспериментальное опровержение (фальсификация) общих утверждений. ... В случае явлений природы объяснение события не должно противоречить теории, в достаточной степени подтвержденной экспериментами. Для исторических событий такие ограничения отсутствуют. Комментаторы имеют возможность прикрываться абсолютно произвольными объяснениями. Когда возникала необходимость что-то объяснить, человек без труда изобретал *ad hoc* (для данного случая (лат.) какую-нибудь мнимую теорию, не имеющую никакого логического оправдания». [34;33]. Кроме того, как пишет Мизес, «история - это не мысленное копирование, а концентрированное представление прошлого средствами понятийного аппарата. Историк не просто позволяет событиям говорить самим за себя. Он организует их в соответствии с идеями, лежащими в основе образования общих понятий, которые он использует, в своем представлении материала. Историк сообщает нам не все случившиеся факты, а только те, *которые имеют отношение к делу*. Он не открывает документ без предположений, но подходит к нему во всеоружии научного знания своего времени, т. е. учений современной логики, математики, праксиологии и естественных наук». [34; 48].

Если с последним утверждением фон Мизеса можно согласиться, то первое положение представляется излишне категоричным. Р.Дж. Коллингвуд, критикуя эволюционистское понимание исторического

процесса, замечал, что в таком случае способы мышления, характерные для того или иного исторического этапа, были бы пригодны только для него одного. В основе этой несомненной – Коллингвуд – ошибки лежит «смещение природного процесса, в котором прошлое умирает, сменяясь настоящим, и исторического процесса, в котором прошлое в той мере, в какой оно исторически познаваемо, продолжает жить в настоящем». [21; 215] Эту же мысль в несколько ином аспекте проводят И. Савельева и А.Полетаев: «Историческое знание в каждый момент времени привязано к настоящему. диктуется им и во многом определяется настоящим В этом смысле конструкция прошлой реальности, воплощенная в сегодняшнем историческом знании, неразрывно связана с конструкцией настоящего...» [45; 6]

Изучение языка государственной власти и управления помогает не только понять, что, собственно, сообщают нам те или иные источники, но и, как точно подметили авторы фундаментального труда «Источниковедение», понять то или иное время, поскольку «эпоха накладывает свой отпечаток на язык общества. Слова и отдельные речевые обороты точно выражают дух своего времени. Поэтому данные языка, или лингвистические источники, существенно помогают изучить ту или иную эпоху». [24; 508]. При изучении истории государственного управления в России, как и истории России в целом, у нас есть возможность опереться на гигантский массив русской литературы.

Академик Д. С. Лихачев считает, что русской литературе «без малого тысяча лет», и что «скачок в царство литературы произошел одновременно с появлением на Руси христианства и церкви, потребовавших письменности и церковной литературы». [46; 7] Не случайно некоторые филологи – русисты (напр., А. А. Шахматов) рассматривали церковнославянский язык в качестве основы современного русского литературного языка (А. А. Шахматов впоследствии отказался от этой позиции). Такого же мнения придерживался акад. В. В. Виноградов: «Русским литературным языком средневековья был

язык церковнославянский». [47] Н. С. Трубецкой также полагал: «Церковнославянская литературно-языковая традиция утвердилась и развилась в России не столько потому, что была славянской, сколько потому, что была церковной». [48;132-133]. Все это вовсе не означает, что у нас ситуация «языка в языке» или двух чуждых друг другу языков. По замечанию Н. Мечковской, «заимствования из церковнославянского языка в русском настолько органичны, настолько близки к исконным (незаимствованным) словам и формам, что их «чужезычность» не чувствуется говорящими. Для языкового сознания церковнославянизмы – это «свое», но «особенное свое». Между тем это все же заимствования, и притом многочисленные». [49; 267].. Важно сознавать и то, что подчеркивал Д. С. Лихачев: возникновение русской литературы было подготовлено предшествующим развитием русской культуры, в частности, высоким уровнем развития фольклора. [46; 7]

Обратимся коротко к вопросу о том, как развивался и через какие этапы в своем развитии прошел русский литературный язык. Почему для нас важен именно литературный язык? В нем легче увидеть преемственность и развитие; состояния языка в разные эпохи можно непосредственно сопоставлять, опираясь на их письменную, документальную основу.

Акад. В. В. Виноградов дает следующее понимание этого явления: «Литературный язык – общий язык письменности того или иного народа, а иногда – нескольких народов – язык официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и устной. Вот почему различаются письменно-книжная и устно-разговорная формы литературного языка...». [50; 288]. В. Колесов пишет, что «термин «литературный язык» по своему происхождению оказывается связанным с понятием «литература», а в этимологическом его понимании – «основанный на литере», т.е. на букве, собственно, *письменный язык*». [51; 5].

Литературный язык – функция национального языка, то есть разновидность **употребления** русского языка [52;6] Подчеркнем, что литературный язык существует и в письменной, и в устной форме, поскольку по мере развития языка развивалась и такая его форма, как «культурное говорение», отличавшее образованного человека от необразованного, носителя, как правило, народных говоров, местных наречий (ситуация, для русского языка отнюдь не уникальная; так, именно отличие литературного английского языка от простонародного лондонского «кокни» легло в основу фабулы знаменитой пьесы Б. Шоу «Пигмалион». [53]

Современные языковеды исходят из того, что «основой современного литературного языка, его ядром, импульсом к постоянным творческим изменениям является народный язык, система естественного языка».[54] Академик В. В. Виноградов, исследовавший этот вопрос, начиная с племенной стадии становления Руси, отмечает в этот период большие различия в языке восточных славянских племен. [47;13]. Взаимодействуя в процессе колонизации Русской равнины, вступая в военно-политические союзы и хозяйственно-экономические отношения, смешиваясь между собой, племена смешивали и наречия, говоры. И хотя полной картины этого сложного процесса до сих пор нет, большинство авторов уверенно выделяет к началу 1X в. два ядра русской политической жизни восточных славян – северный (новгородский) и южный (киевский) с одновременным формированием северновеликорусского и южновеликорусского наречий (говоров). Единство русского языка, по В. В. Виноградову, стало результатом «собирания земель» русских вокруг Киева, следствием потребности в едином государственном языке. По его предположению, хотя начатки восточнославянской письменности сложились в более ранний период, именно «Киев, сделавшись самым обширным городом Европы (по свидетельству Титмара, 1019), соперником Царьграду (по словам Адама Бременского), стал центром восточнославянской культуры и колыбелью русского языка. В этом международном городе вырабатывался

«общий» язык восточнославянской империи, своеобразное «койнэ», в котором стирались и умерялись резкие диалектальные особенности разных восточнославянских племен. В основе языка Киева лежала речь южнорусских славян, но этот городской язык, выполнявший сложные культурно-политические и образовательные функции, подверженный международным влияниям и отражавший разнообразие культурной жизни высших классов, был отличен от речи сельских жителей земли полян не только по словарю и синтаксису, но и по звуковым особенностям. В нем было много иноязычных элементов, культурных, общественно-политических, профессиональных и торговых терминов. Он включал в себя слова разных славянских диалектов». [47;16].

В. В. Виноградов при анализе этого периода в развитии русского языка обратил внимание на очень важное для всей нашей истории обстоятельство: когда народы Западной Европы оказались в орбите влияния Западной Римской империи, а восточнославянские племена – в орбите влияния Восточной, то есть Византийской империи, то «греческий язык не получил на Востоке того исключительного господства, какое на Западе имел латинский. На Западе никогда место латинского языка как языка культа и науки не уступали языку варварскому. Византия же не противодействовала славянам усваивать богатство византийской культуры при посредстве своего славянского литературного языка». [50;17]. Надо ли говорить, какие возможности для развития русского языка открывало это обстоятельство! Как подчеркивает В. В. Виноградов, это огромной важности культурное событие на время объединило все славянство (IX-XI вв.), позволило славянам выйти на арену европейской жизни и **добиваться «равноправия своего литературного языка с греческим и латинским – двумя международными языками европейского средневековья»**. [50;17]. (Выделено мною. – А.О.) Старославянский литературный язык перестал быть общеславянским языком, по мнению В. В. Виноградова, по причинам политического характера – вследствие запрета на его употребление в Чехии,

Моравии, Паннонии со стороны властного блока князей и немецкого духовенства. [50;17]. Факт этот в истории государственного управления в России, кстати говоря, никак не отражен, а большинство отечественных учебников истории по-прежнему рассматривает Киевскую Русь как периферийное государственное образование.

В Киевской Руси старославянский язык, обогащенный культурным наследием Византии через посредство переводов, расширяет свой состав и за счет живой речи. Он развивается, по мнению акад. Виноградова, в двух направлениях: и как литературный славяно-русский язык – то, что стали называть церковнославянским, и как государственно-деловой язык, «почти свободный от церковнославянских элементов в кругу бытовой и государственной практики». [50; 18]. Отмечает Виноградов и то любопытное обстоятельство, что в древнейшем списке «Русской правды» (1283 г.) наблюдается почти полное отсутствие церковнославянизмов. [50; 21]

Подводя некоторые итоги, акад. В. В. Виноградов пишет: «Таким образом, в эпоху Киевской Руси русский литературный язык быстро развивается в двух направлениях: язык народный обогащается художественным опытом книжной литературы; язык славяно-русский проникается стихией живой восточнославянской речи. **Промежуточное положение между этими двумя разновидностями древнерусской литературной речи занимает деловой язык, язык грамот и договоров.** Язык грамот далеко не всегда отражал непосредственно живую речь. В разных типах грамот с течением времени вырабатывались свои застывшие формулы, далекие от живого языка. **Эти формулы повторялись иногда из века в век, хотя уже давно не соответствовали современному состоянию бытовой речи.**» [50; 24]. (Выделено мною. – А.О.) В работе «Вопросы образования русского национального языка». В. В. Виноградов утверждает, что «древнерусская народность обладала тремя типами письменного языка, один из которых – восточнославянский в своей основе – обслуживал деловую переписку, другой, собственно литературный



церковнославянский, т.е. русифицированный старославянский, - потребности культа и церковно-религиозной литературы. Третий тип, по-видимому, широко совмещавший элементы главным образом живой восточно-славянской народно-поэтической речи и славянизмы, особенно при соответствующей стилистической мотивировке, применялся в таких видах литературного творчества, где доминировали элементы художественные». [55; 185]. В период раннего феодализма (с конца XI в.) рост феодальной раздробленности ведет к усилению различий между южнорусскими и севернорусскими говорами, причем ряд специалистов отмечает, что на юге в его более тесными контактами с Константинополем господство церковнославянского языка продолжалось дольше и ощущалось сильнее, чем на севере, где язык приобретал более народную окраску.

Москва, находившаяся на стыке разных диалектальных групп (по мнению А. А. Шахматова, высшие классы в Москве «окали» на северный манер, а низшие – «акали» [56;28]), начала создавать общегосударственный язык далеко не сразу, а только в меру своего военного и политико-экономического усиления во второй половине XV – начале XVI веков, и это был «язык правительственных учреждений, язык московской администрации, бытового общения и официальных сношений», устоявшийся в качестве нормы, вероятно, в XVI в. [56; 28] Он, естественно, включает в себя областные слова (рязанские, новгородские; особенно последние, обогащенные интенсивным общением в Западной и Северной Европой), но сам по себе оценивается как более строгий, чем другие говоры, ближе стоящий к славяно-русскому языку (подозревают даже сознательную архаизацию его в связи с политическими притязаниями Московского царства).

Как заключает в завершение описания этого этапа акад. В. В. Виноградов, «таким образом, московский приказный язык ... к началу XVII в. достиг большого развития и имел все данные для того, чтобы вступить в борьбу за литературные права с языком славяно-русским. Этот деловой язык

применялся не только в государственных и юридических актах, договорах и пр., но на нем же велась и почти вся корреспонденция московского правительства и московской интеллигенции, на нем же писались статьи и книги самого разнообразного содержания: своды законов, мемуары, хозяйственные, политические, географические и исторические сочинения, лечебные, поваренные книги и т.п.». [56; 29 – 30]. В другой работе акад. Виноградов со всей определенностью подчеркивает: «В начальной стадии сложения наций литературный язык является сперва «государственным языком» с ограниченным применением его в литературе». [57; 80] Государственный язык, замечает В. В. Виноградов, в той или иной форме проникает в другие сферы: «В публицистическую литературу ХУ1 в. *настойчиво* проникают элементы стилистики деловой письменности. На использовании памятников деловой письменности в значительной степени было основано и официальное летописание. Приемы делового письма, его типические обороты широко используются царем Иваном Грозным как писателем. Знание приказного делопроизводства, его стилистики позволило Грозному свободно и разнообразно применять, иногда даже с сатирической целью, речевые формы различных деловых документов». [57;121] (Курсив мой. – А.О.)

Следующий интересный для нас этап развития русского языка начинается в ХУП в., когда московский деловой язык выступает, по выражению Виноградова, в качестве общенациональной формы общественно-бытового выражения [56;36]. Резкие диалектальные различия между Москвой и Новгородом стираются, а сами местные говоры становятся принадлежностью низших общественных групп.

«Сильная и широкая струя русской народной речи» пополняет язык, раздвигает его границы, образуя сложную взаимосвязь классических, славяно-русских, и живых народных языковых оборотов, одновременно принимая в себя и мощную струю латинизмов. Последние при Петре становятся отличительным признаком новых людей петровской эпохи, в

языке которых эклектически совмещаются и славянизмы, и европеизмы: «возникает мода на европеизмы, распространяется среди высших классов поверхностное щегольство иностранными словами». [56; 43]. Для ИГУР полезно отметить, что Петр в служебной переписке столкнулся с тем, что его офицеры и чиновники, видимо, стремясь соответствовать духу царствования, так злоупотребляли в реляциях европеизмами, толком не понимая их значения, что царь приказал «писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов», поскольку понять в этой смеси «французского с нижегородским» иногда ничего было невозможно. [56;. 43-44].

В. К. Третьяковский выдвинул задачу формирования в языке общенациональной нормы; М. В. Ломоносов, стремясь интегрировать в понятие «русский язык» и живую устную речь (причем он не исключал из нее и областных, местных говоров), и государственный (приказный) язык, и формы славяно-русского языка, разрабатывает концепцию трех стилей русского литературного языка (А.С. Пушкин использовал впоследствии славянизмы именно так, как рекомендовал Ломоносов - как способ расширить литературный язык, придать ему торжественность, образность, новый смысловой оттенок, но избегая при этом употребления архаизмов, народу непонятных). Славяно-русский (церковнославянский) язык, особенно после появления новой гражданской азбуки (1708 г.), реформ А. П. Сумарокова, остался языком церкви.

Дальнейшее развитие русского литературного языка, связанное в деятельности Н. М. Карамзина и его последователей (Жуковский. Батюшков и др.) в полемике с адмиралом А. С. Шишковым, с творчеством А. С. Грибоедова, Н. А. Крылова, наконец, А. С. Пушкина, привело к созданию ядра национального русского языка. Самое значительное влияние на словарный запас русского литературного языка в этот период оказывала западноевропейская философия, европейская литература и культура в целом;

громадное расширение языка происходило за счет политического и научно-технического вокабуляра.

Между тем постепенно языком двора, аристократических салонов и дворянских кругов становится французский язык, причем это не только следствие европеизации русского общества и потребности восприятия одной из самых богатых, сложных и утонченных культур Запада, но и закрепление в языковой сфере отрыва элиты от народа – от простой возможности обсуждать семейные проблемы за обеденным столом в присутствии прислуги до ежедневной наглядной демонстрации престонародью в условиях крепостничества, что дворяне - люди, сделанные из другого теста («белая кость, голубая кровь»).

Качественно новым этапом в развитии русского языка становится период после Октябрьской революции. Как отмечает В. В. Виноградов, в широкий общественный оборот входят термины марксистской науки об обществе («борьба классов», «диктатура пролетариата» и т.п.), народные массы активно используют язык правящей партии и ее вождей (последнее особенно заметно в употреблении лозунгов и афоризмов – «лучше меньше, да лучше», «головокружение от успехов» и т.п.), причем «новая, социалистическая культура меняет структуру русского языка в тех областях его, которые более других допускают приток новых элементов – в словообразовании, лексике и фразеологии. Новые формы политической организации, новый быт, социалистическая идеология – все это ведет к массовому образованию новых слов и понятий или к глубокому семантическому изменению множества прежних слов и выражений (ср., например: *совет, комсомол, ударник, ударничество, пятилетка, колхоз, колхозник, единоличник, самокритика, вредительство, чистка, ударные темпы, стахановское движение и мн. др.*). Осуществляется принципиальная идеологическая перестройка национального русского языка на социалистических началах». [56; 62]. Акад. Виноградов отмечает несколько особенностей языка этого периода:

1) принципиальная атеистичность советского государства, борьба с «религиозными предрассудками» сужает круг церковнославянизмом в живом языке, а церковнославянская лексика и фразеология используется в ироническом ключе;

2) обстановка классовый, идейной борьбы вводит в оборот много слов с эмоциональными суффиксами, позволяющими обличать и клеймить стоящие за ними явления («учредилка» вместо «Учредительное собрание», «уравниловка» и т.п.);

3) широкое использование сокращений и сложносокращенных слов («совдеп», «совнарком» и др.);

4) в связи с интенсивным научно-техническим развитием и общим культурным подъемом рост фонда интернациональной лексики: «Он насчитывает более 100 000 интернациональных слов». – С. 63. – Виноградов. Основные этапы...

5) поскольку в условиях социалистического строительства вопросы производства перестают быть узко-техническими, приобретают политическое и широкое общественное явление, то множество технических терминов входит в общенациональный язык (трактор, колхоз, комбайн, пропеллер, блюминг, кабина, шарикоподшипник и т.п.);

6) для первых послереволюционных лет Виноградов отмечает массовое проникновение в литературную речь не только словарного запаса низовых городских масс, но и разных арг, например, арг деклассированных. [56; 62-64].

Итак, изучать историю государственного управления в России ученый вынужден в основном по сохранившимся, дошедшим до нас текстам. Так, собственно, и сформулировали еще в конце XIX в. суть своего подхода получившие за это клеймо позитивистов французские историки Ш. Сеньобос и Ш.-В. Ланглуа в совместном труде «Введение в изучение истории»: «Историю изучают при помощи текстов». Во времена оны это было протестом против спекулятивного подхода к истории, умозрительных

(зачастую крайне легковесных) конструкций с далеко идущими выводами; но так ли уж изменилась ситуация в исторической науке сегодня?

Наш современник М.М. Бахтин в работе, датированной 1979 г., пишет: «Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике ... Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки ...» [58; 230].

Историки государственного управления, как и историки вообще, в отличие от естествоиспытателей не могут наблюдать то, что они описывают: «между историком и описываемым им событием стоит источник, из которого историк только и узнает о событии. ... Историк сам ничего не видел, он узнал о фактах прошлого из дошедших до него свидетельств. Если историк дает описание некоторого события, но не может указать источник, из которого он узнал об этом событии, его описание будет отвергнуто как не имеющее научной ценности».[59; 111] Оговоримся в этой связи, что ряд историков – например, И.Савельева и А. Полетаев – считает проблему «реальности прошлого» надуманной, указывая, что все обществоведы в той или иной мере работают с прошлым, и это их мало беспокоит. С прошлым работают и естествоиспытатели, например, палеонтологи; физики изучают по свету звезд их состояния, которые реально существовали миллионы лет назад; что касается изучения такого специфического объекта, как общество, то, как решительно подчеркивают эти авторы, «вообще, чтобы заниматься анализом какого-либо общества, его не обязательно видеть». [45; 7]

О. М. Медушевская описывает основные стадии работы с источниками: «Итак, прежде всего – отыскание документов (эвристика); затем анализ (внешняя, подготовительная критика); внутренняя критика (критика толкования – герменевтика; негативная внутренняя критика достоверности – через проверку истинности и точности свидетельства и как ее результат – установление частных фактов). Далее наступает этап синтеза, который в духе позитивистской парадигмы достигается путем группировки

ранее выявленных фактов и построения общих формул. Изложение результатов исследования завершает создание исторического нарратива». [24; 49].

Изучение и преподавание истории государственного управления в России наряду с профессиональными историками стало делом представителей многих научных дисциплин, и потому необходимо напомнить то, что хорошо известно историкам: источники не являются объективным отражением истории по целому ряду причин. К их числу можно отнести следующие: 1) источник может быть продуктом сознательной фальсификации, имеющей целью ввести будущих исследователей в заблуждение (например, ради сохранения репутации властных лиц, власти в целом, государства); 2) источник может быть результатом страха составителя документа за свою жизнь, карьеру, перспективу служебного роста и т.п. (массу таких донесений вышестоящему командованию, относящихся к периоду лета 1941 г. обнаружил М. Солонин в ЦАМО (Центральном архиве министерства обороны) и в других военных архивах.): «архив – это всего лишь склад, в котором хранятся бумажные носители информации. (Подлинность пожелтелой бумажки ни в малейшей степени не является доказательством достоверности тех сведений, которые на этой бумажке зафиксированы. ... По всему поэтому пресловутый «допуск в архив» ни в малейшей степени не освобождает исследователя от самой трудной части работы – от оценки достоверности найденной информации». [60;8 – 9] Представляя читателю архивные документы времен ВОВ, автор в другой книге добавляет: «Слова, которые записаны на страницах архивных документов, написаны людьми. У этих людей были свои слабости, свои личные интересы и амбиции, они (как и все прочие) могли ошибаться, и – в отличие от нас с вами - авторы этих бесчисленных Оперсводок и Боевых донесений действовали в состоянии жесточайшего стресса. Они были на войне: их убивали, они убивали, и никто не знал – увидит ли он рассвет завтрашнего дня». [61; 23-24].); 3) источник передает

описываемое событие через миропонимание автора, его личное и социальное отношение к происходящему; 4) источник дает историку только ту информацию о событии, которую историк в источнике ищет, у источника запрашивает; «И полученные ответы всецело зависят от заданных вопросов». [24; 520].

Итак, несомненно, что историческое знание в большой степени основано на исторических источниках, опосредовано ими, зависит от того, насколько они объективно и полно отразили историческую реальность, от того, кто был автор источника, в каком жанре он писал, какие цели при этом ставил и т.п. При этом, подчеркивают К. Хвостова и В. Финн, «данные исторических источников не могут быть названы эмпирическими в том смысле, в каком являются таковыми данные естественных наук, т.е. результаты эксперимента, который можно проверить. Исторические факты, реконструируемые на основе исторических источников, не являются объектом наблюдения. Выводы в историческом знании не подлежат такого рода верификации, которая характерна для эмпирического знания». [25; 23] Кроме того, отмечают соавторы, «существует также иллюзия, что все зависит от источника, т.е. от сугубо объективного или эмпирического подхода, не обусловленного «готовым» знанием; результаты анализа представляются как вывод, итог совершенно будто бы непосредственного анализа источников. Подобная иллюзия также отражает слабые познания в области гносеологии и логики науки...». [25; 31].

Если документы времен Великой Отечественной войны мы сравнительно хорошо *понимаем*, то воспринимать средневековые тексты на современный манер не представляется возможным: «Тексты обладали особой системой и иерархией представления, в том числе ритмом, разрушив который, нельзя было не править весь текст. Форма слова определяла пределы варьирования; строгая, раз и навсегда установленная соразмерность слов и гармония форм создавали рамку синтагм. Теперь хорошо известно концептуальное отношение средневековья к тексту как форме выражения



идеологии и знания <...>: текст как откровение, без критического его осмысления (истинность текста проверяется не развитием познания и не сравнением с другими текстами, а постоянным воспроизведением); в символическом истолковании отрицается метафора (ей соответствует символ), статическое пространство текста как бы раздваивает восприятие времени («вечное» - «тленное»), без сравнений и уподоблений, т.е. вне иерархии степеней». [51; 11]

Опираясь на труды западных славистов, В. Колесов считает основными характеристиками средневекового письменного языка достоинство и норму, при этом «достоинство (*dignitas*) – не внешний престиж, который был свойственен и деловым документам, а именно способность возвещать боговдохновенную истину» [51; 11] Что же касается средневековой нормы, то она «ничего общего с современным представлением о норме не имеет; нормативен образец, т. е. обладающий идеологическим достоинством текст». [51; 11] В последующем развитии норма перестает существовать как «образец – текст», становится узусом привычного употребления, а позднее и обязательным стандартом.

К важнейшим жанрам древнерусской литературы обычно относят слово, поучение, беседу, сказание, притчу, плач, повесть и т.д. (жанры могут отчасти совпадать, включать в себя другие (например, молитву)), да и списки их у различных авторов разнятся. (Характеристику некоторых жанров см.: [51; 16 – 135].)

Один из исторических источников для изучения как истории России, так и истории российской государственности в период с XI по XVIII век – летописи (именно в этот период осуществлялось летописание на Руси). Однако если историки прекрасно понимают, что такое летописание и в какой мере на него можно опираться как на исторический источник, то преподаватели истории государственного управления специфику жанра летописи понимают далеко не всегда. Разумеется, в еще меньшей степени это понимание присутствует у студентов, изучающих ИГУР; последние зачастую

склонны думать, что летописи представляют собой простое, буквальное описание исторических событий, свидетелем которых был летописец, который в их глазах чаще всего принимает облик пушкинского Пимена, сомневаться в пристрастности, ангажированности которого по определению невозможно. Между тем в источниковедении интерпретация летописей как особого вида исторических источников сопряжена с определенными трудностями. [24;172] Как пишут авторы учебного пособия «Источниковедение», «традиционно *летописями* в широком смысле называют исторические сочинения, изложение в которых ведется строго по годам и сопровождается хронографическими (годовыми), часто календарными, а иногда и хронометрическими (часовыми) датами. ... В узком смысле слова *летописями* принято называть реально дошедшие до нас летописные тексты, сохранившиеся в одном или нескольких сходных между собой списках». [24; 173]. Вместе с тем, как отмечают те же авторы, летописи сложны по своему составу, и наряду с хроникальными записями событий по годам могут включать в себя документы разного рода – от международных договоров до частных актов, самостоятельные литературные произведения (сказания, повести, слова и т.п.), фольклорный материал. [24; 172] Поздние летописи по составу и характеру существенно отличаются от ранних. Известные сегодня летописные тексты практически все являются компиляциями, то есть представляют собой своды предшествующих летописей. Реконструкции этих текстов представляют собой сложнейшую задачу даже для специалистов, и поэтому самостоятельная интерпретация летописных текстов преподавателями ИГУР, не являющимися профессиональными историографами, была бы затеей по меньшей мере легкомысленной.

Информационная ценность летописей для нас состоит прежде всего в том, что они доносят до нас события прошлого, то есть в их фактологической ценности. Однако для самого летописца дело могло обстоять совершенно иначе, замечает О. М. Медушевская: события, современником и

наблюдателем которых мог быть летописец, становились значимыми (и потому достойными быть упомянутыми в летописи), когда они сопрягались в умах современников со Священной историей: «Событие существенно для летописца постольку, поскольку оно, образно говоря, являлось со-Бытием. Отсюда следовал и способ описания – через прямое или опосредованное цитирование авторитетных (чаще всего сакральных) текстов».[24;175] О. Б. Медушевская в качестве одного из многих примеров такого рода проводит сопоставление выдержек их «Повести временных лет» и Третьей книги Царств из Ветхого Завета. [24; 182].

Далее, при обращении к текстам древнерусских летописей перед исследователем «неизбежно должен встать вопрос: насколько адекватно он может воспринимать текст, созданный тысячелетие назад?» [24;178] О. Б. Медушевская отмечает, что прежде всего нельзя быть уверенным, что лингвистами зафиксированы все значения всех слов, встречающихся в древнерусских источниках. Даже если это так и исследователь выбрал из всех вариантов наиболее правильное значение, этого еще недостаточно для правильного *понимания* текста, уяснения смысла описанной исторической ситуации. [24; 178] По-видимому, следует согласиться с цитируемым автором, что верное понимание древнерусских текстов при буквальном «переводе» было бы возможно лишь при совпадении характера мышления средневекового и современного человека. Однако и психологи, и антропологи, и историки уже давно пришли к выводу, что «психологические механизмы человека представляют собой исторически изменчивую величину». [24; 179] Если на ранних стадиях истории над летописцем довлеют коллективные представления, то в последующем мышление человека все более индивидуализируется, а вместе с тем меняется и язык (имена собственные – классы явлений – понятия).

О. Медушевская указывает также на отсутствие в русской книжности схоластических, богословских традиций, что позволяет судить о личном мировосприятии летописца лишь по косвенным данным; как в этих

условиях догадаться о замысле летописца, его задаче, социальной функции, которую должна была выполнить летопись? Внешняя простота летописания вместе с тем чрезвычайно обманчива; ее форма как раз и призвана, по-видимому, внушить убеждение в незатейливости и безыскусности изложения, восприятия текста как прямой фиксации непосредственно увиденного.

Некоторые современные авторы страдают таким методологическим пороком, как перенос современных представлений и принципов политики и государственной деятельности на предшествующие эпохи. Понятно, что при этом предпосылками их методологических якобы ошибок являются установки, имеющие целью, например, обоснование врожденной авторитарности российского общества и государства или тезиса о русской истории как процессе вечной борьбы между демократией и авторитаризмом, неперенный исход которой – победа авторитаризма. Для реализации этих целей используется простейший прием: явления политической жизни прошлых эпох описываются в терминах современной общественно-политической жизни. Так, например, вечевые собрания называются «вечевой демократией». А. и П. Лукины справедливо оспаривают возможность такого переноса: «В случае с вечевыми собраниями в Новгороде, Пскове и других древнерусских городах мы имеем дело с явлениями, принципиально не похожими на демократические институты в классическом понимании, с их уважением к правам человека, гарантиями прав меньшинства, свободой оппозиционной деятельности и т.д.» [62; 153].

Второй по счету, но для изучения ИГУР скорее всего первый по значению исторический источник – это памятники законодательства. Здесь прежде всего следует помнить, что в древнем и средневековом обществе масштабы государственного регулирования социальных процессов были сравнительно невелики, основную роль играли обычаи и традиции (обычное право). О. Медушевская полагает, что в древнерусском обществе роль традиции была особенно велика в силу того, что на Руси отсутствовала

рецепция римского права, которая заложила основы западноевропейских правовых систем. [24; 223] Здесь отдельный интерес представляет собой то, что обобщенно называют «Русской Правдой» - «Краткая Правда», древнейший памятник (20 – 70-е гг. XI в.; она делится на Правду Ярослава и Правду Ярославичей). Значительное место наряду со светскими законами занимало в таком обществе каноническое право, изучение которого важно для истории государственного управления в силу того, что характер взаимоотношения православной церкви и государства оказывал сильное и непосредственное воздействие на государство и государственное управление.

Для понимания значения и смысла многих терминов, используемых ныне как в научном, так и обиходном языке, целесообразно обратиться к вопросу об их происхождении. Языковеды относят к южнославянским словам (церковнославянизмам) слова с так называемыми неполногласными сочетаниями – *ла, ра, ре* (в отличие от полногласных сочетаний - *оло, оро, ере*), а также приставки и предлоги - *из-, низ-, пре-, пред-, чрез-* и другие (в отличие от исконных *вы-, с-, пере-, перед-, через-* и т.п.). К первой группе слов относятся такие как *власть, берег, праздник* (ср.: *волость, берег, порожний*); ко второй – *испить, низложить, предать, чрезмерный* (для сравнения: *выпить, сложить, передать, череспосолица* и т.п.). [49; 267]. К заимствованиям из церковнославянского с достоверностью относят такие слова, как *царь, церковь, образ, буква, истина и т.п.* Не заимствованы, но сконструированы по образу и подобию церковнославянизмов такие слова, как *млечный, млекопитающее, здравоохранение, кровообращение, златовласка, сладкоежка и подобные.*

Как пишет Н. Б. Мечковская, «таких слов в русском языке тысячи. Многие из них обычны и стилистически нейтральны (ср. *власть, враг, древесный, здравствуй, издатель, крест, мрачный, надежда, небо, нравиться, одежда, плен, польза, праздник, предложение, развлекать, разврат, распределять, сладкий, союз, страна, страница, среда, средний,*

*шлем* и т.п.). Для многих других церковнославянизмов, особенно на фоне соответствующих исконных русских слов, характерен не очень сильный (не такой силы, как в словах *брег, вотще, дочь, золото*) оттенок стилистической приподнятости, и передают такие слова, как правило, значения достаточно общие, отвлеченные или специальные, в то время как исконные соответствия обозначают что-то более частное, конкретное или повседневное, ср.: *извлечь – выволочить, исчерпать – вычерпать, заграждение – загородка, гражданин – горожанин, глава – голова, краткий – короткий, здоровый – здоровый* и т.д.» [49; 268]

Естественно в этой связи, что и литературный, и обиходный русский язык оказался чрезвычайно насыщен словами из Священного писания. Отмечая это обстоятельство, Н. Б. Мечковская - только в качестве самых очевидных примеров – приводит громадный список таких заимствований: «Вот примеры общепонятных образов и ходячих оборотов, пришедших в наш язык из Св. Писания: *альфа и омега, бразды правления, вавилонское столпотворение, в плоть и кровь, в поте лица, взявшие меч – мечом погибнут, во время оно, волк в овечьей шкуре, всей душой, всем сердцем, всемирный потоп, всему свое время, всякой твари по паре, допотопные времена, ждать манны небесной, запретный плод, зарыть талант в землю, земля обетованная, злоба дня, знамение времени, избиение младенцев, как зеницу ока, книга за семью печатями, козел отпущения, колосс на глиняных ногах, краеугольный камень, метать бисер перед свиньями, на сон грядущий, не от мира сего, нет пророка в своем отечестве, плоть от плоти, по образу и подобию, ради бога, святая святых, смертный грех, суета сует, терновый венец, тьма кромешная, хлеб насущный и мн. др.* Характерно, что говорящие могут и не знать о библейском происхождении многих из этих выражений. Говоря *злачное место, корень зла, не хлебом единым, соль земли или строить на песке, люди не думают, что они цитируют Библию. Они просто говорят на*

**языке, который вобрал в себя образы, ставшие благодаря Писанию крылатыми». [49;271]**

Богослужбные тексты были образцом для любого пишущего или публично говорящего. Сами эти тексты имели ряд особенностей; например, «в богослужбных текстах мастерски использован точно и строго очерченный круг изобразительных средств. Это делалось древними гимнографами для того, чтобы не подменить духовных переживаний эстетическими, то есть душевными, не обременять ума молящегося художественной информацией и тем самым не оземлить молитву».[63; 239-240]. Кроме того, как отмечает архимандрит Рафаил, «унификация изобразительных средств – одно из условий ОБЩНОСТИ молитвы, духовного познания, эмоций и сопереживаний верующих ...» [63; 240] В этой связи перед церковью сегодня с особой остротой стоит в общем-то не новая проблема: на каком языке возносить молитву, обращаться к верующим?

Русская Православная Церковь обсуждает проект документа о месте и роли церковнославянского языка в жизни церкви в XXI веке. Речь не о замене церковнославянского - он по-прежнему остается «важным средством сохранения единства и традиций внутри церкви» (первый заместитель председателя учебного комитета РПЦ архимандрит Кирилл (Говорун). Однако задача облегчить верующим понимание богослужбных текстов в *отдельных случаях* все же ставится: непонятные, сложные в произношении слова могут заменяться на более легкие слова из того же церковнославянского языка (например, «живот» на «жизнь» и т.п.), а также облегчаться синтаксические конструкции. Архимандрит Кирилл отметил, что в действительности процесс перемен в языке никогда не останавливался (это, кстати, говорит о том, что данный язык живой). Церковь ссылается на св. Феофана Затворника, говорившего о необходимости того, чтобы язык богослужения был понятен. Но здесь возникает вопрос, каким образом сделать его понятным: переписать на современный лад, или обучить

церковнославянскому? Первый путь кажется перспективнее с точки зрения возможности приобщения к РПЦ все новых когорт верующих; он, кроме того, проще для современного человека. Но какова ценность такого приобретения, убоявшегося труда учения? Сохранит ли свою идентичность сама церковь и даже вера, изложенная в иных словах, может быть, и похожих, но ведь не тех! М. В. Ломоносов, указывая на значение «славянского» языка для развития русского литературного языка, привел целый ряд причин, доказывающих необходимость его сохранения и полезность чтения церковных книг на этом языке. [64;10 – 13].

В естественно развивающемся обществе власть всегда умнее и образованнее самого общества; управляя народом, она вынуждена объяснять народу смысл и цель государственных решений, и делает она это на своем собственном, властном языке. Последний не всегда понятен народу. Термины государевых указов могут по-своему интерпретироваться народной массой – так обстояло дело после публикации декрета об освобождении крестьян 1861 г., когда положение о наделении крестьян землей трактовалось ими в свою пользу, а помещиков и чиновников обвиняли в том, что они извратили смысл царева указа.

С гораздо более сложным обстоятельством имел дело Петр<sup>1</sup>, Анна, Елизавета и Екатерина II, когда в государственный язык начали мощным потоком вливаться иноязычные термины, в частности, термины европейского права. Петр и его последовательницы начинают в народную жизнь вводить язык закона, и вместе с ним постулат – «Незнание закона не освобождает от ответственности», что становится мощным стимулом к изучению закона и постижению его языка. В 1719 г. в указе государя воевод обязывали читать указы неграмотным людям, в указе от 19 февраля 1721 г. требовалось листы с указом вывешивать во всех местах скопления людей, указ от 9 февраля 1720 г. требовал его объявления всенародно, указ от 16 октября 1744 г. требовал его зачитания в церквях и т.п. [См.: 24; 353 – 360].



В начале XIX в. Александр I издает указ «Об означении, при выписывании по делам законов, точных слов оных без сокращения и малейшей перемены». Сам факт издания такого указа говорит не только о злоупотреблениях судебного сословия («Закон – что дышло...»), но, скорее всего, и о том, что язык закона судейскими был не вполне освоен.

Николай II в указах и обращениях к народу русскому стремился сохранить стиль позднего средневековья, разительно отличавшийся и от литературного языка (за спиной которого – «серебряный век» русской литературы!), и от языка разговорного. Причины этого достаточно понятны: вынужденный шаг за шагом уступать требованиям либеральной буржуазии и революционного рабочего движения, царь судорожно цеплялся за все, что представлялось ему устоями самодержавия, в том числе и язык царских грамот. Не случайно и то, что своим идеалом царь Николай II неоднократно называл второго из династии Романовых – Алексея Михайловича, «царя Тишайшего».

Язык партийного и государственного управления и руководства непосредственно формировал язык средств массовой информации, первоначально – газет, журналов и радио. Подход, сформулированный В. И. Лениным в условиях революции 1905 г. в известной статье «Партийная организация и партийная литература», был позднее перенесен с языка партийной пропаганды на печать и литературу в целом. Главным стало не информирование читателя, а агитация и пропаганда, организация масс на решение задач социалистического строительства. Газета становилась коллективным организатором, и в этом была огромная сила печатного слова. Однако одновременно главный акцент делался не на сущем, а на должном; недостатки подавались как «отдельные», а когда очевидным становилось их обилие, акцент делался на будущем, в обязательном порядке «светлом». Вот почему нельзя рассматривать советскую прессу как простое отражение действительности; она описывала не реальную жизнь, а ту, которой она должна была быть. Из этого вытекают некоторые особенности языка печати

этого периода: его пафосность, акцент на категории долженствования, идеализация действительности и т.п. Все это дополнялось нагнетанием политических страстей по поводу капиталистического окружения (так наз. «военные тревоги» 1920-х гг. – ярчайший тому пример), и, как типичный способ, объяснение провалов и недостатков социалистического строительства, имевших сугубо внутренние основания в виде пороков планирования и руководства, недостаточно высокого уровня компетентности, профессионализма и культуры исполнителей происками империализма и его агентов. Газета советского периода по этой причине – это не простое зеркало советской жизни, а зеркало из какого-то невероятного соединения «комнаты смеха» с комнатой ужасов. Правда, в 1960-1980 гг. ужасов становилось все меньше, зато смеха все больше, и не случайно лучше официальной прессы раскрывают сущность этого периода политические анекдоты.

Почему большевики с такой настойчивостью вводили в народный обиход свой «новояз»? Вот мнение Р. Барта: «Объектом, в котором от начала времен гнездится власть, является сама языковая деятельность, или, точнее, ее обязательное выражение - язык. Языковая деятельность подобна законодательной деятельности, а язык является ее кодом... в языке, благодаря самой его структуре, заложено фатальное отношение отчуждения. Говорить ... это значит подчинять себе слушающего: весь язык целиком есть общеобязательная форма принуждения. ... Как только язык переходит в категорию говорения ... он немедленно оказывается на службе у власти». [65; 548 – 549] -

Советское государство строилось как идеократическое и было идеократическим; именно поэтому слову в нем придавалось столь большое значение. Массовое сознание в таком обществе выстраивалось как особого рода мифологическое сознание, а как показала Е. Режабек, «структурообразующей матрицей мифологического сознания на протяжении всей его истории был вербальный реализм». [66; 59] Слово, отмечает Е.

Режабек, «совпадает с нуминозной мощью, является носителем нуминозной мощи... Нуминозная сила живет в слове точно так же, как она живет в ритуале, - самым непосредственным образом. Вот почему первобытный человек (даже в настоящее время) видел в знаке (слове) средство управления миром, средство приобретения власти над природой». [66; 59]. На это обстоятельство обращали внимание исследователи первобытного общества – В. Н. Топоров (там, где господствует ритуал, знаковые факторы определяют обстоятельства материальной жизни, а не наоборот) и другие. А. А. Потебня в одной из работ пишет, что существует «старинное верование, дожившее до настоящего времени и состоящее в том, что одно произнесение известного слова само по себе может произвести то явление, с которым оно связано».[67; 206]. – В народном сознании до сих пор табуировано произнесение некоторых слов, например, чертыхания, да и церковь предупреждает – «Не произноси Имени Божьего всуе!»

Идеократический характер советской власти призывал советских людей, и в первую очередь руководителей всех уровней и мастей, ссылаться по всем сущностно важным вопросам общественной жизни на идейные авторитеты – от живых вождей до Ленина – Энгельса – Маркса, собрания сочинений которых были необходимым элементом интерьера кабинетов руководителей (Чем ниже был ранг руководителя, тем ниже был и ранг «вождя», сочинения которого присутствовали в кабинете; так, в кабинете моей матери, в 1960-1980-х гг. заведующей заводским деткомбинатом (комбинация «детские ясли – детский сад»), в застекленной стенке стояли 12 томов сочинений Н.К. Крупской, считавшейся коммунистическим теоретиком воспитания детей).

В соответствии с этим принципом все печатные труды советской эпохи пестрели цитатами из произведений классиков марксизма-ленинизма. Для понимания языка этой эпохи, логики мышления людей этой эпохи, сути самой эпохи это немаловажный и сам по себе очень интересный момент. Но еще интереснее то, что цитата, оказывается, в нашей истории (да и не только

в нашей) играла, пожалуй, не менее значительную роль ...в период Средневековья! Вот что пишет по этому поводу М. М. Бахтин: «Роль чужого слова, цитаты, явной и благоговейно подчеркнутой, полускрытой, скрытой, полусознательной, бессознательной, правильной, намеренно искаженной, ненамеренно искаженной, нарочито переосмысленной и т.д., в средневековой литературе была грандиозной. Границы между чужой и своей речью были зыбки, двусмысленны, часто намеренно извилисты и запутанны. Некоторые виды произведений строились, как мозаики, из чужих текстов». [68; 433] – В. В. Кожин, комментируя это положение Бахтина, замечает, что такое «цитатничество» вовсе не означало отсутствие или хотя бы ослабление своего собственного, самобытного смысла. [39; 513].

Можно ли управлять языком? П. Вайль, например, уверяет, что это невозможно: «Это стихия. Это цунами. И управлять им даже в самые крошечные годы не удавалось». [69; 169] Думается, что г-н Вайль излишне категоричен. Что такое «управлять языком» (подразумевается, со стороны власти)?

Прежде всего, власть должна осознать потребность в создании «своего» языка. Большевицкая власть эту потребность осознала (или ощутила, если угодно). Осознала она и то, *что именно* надо менять. Во-первых, она расширила словарный запас обывателя, пополнив его совершенно новыми для обывателя словами (революция, пролетариат, диктатура, большевики и проч.); во-вторых, она приспособила старые слова для своих целей («буржуй» вместо буржуа; В. И. Ленин как человек достаточно образованный в статьях и речах говорит «буржуа», «буржуазия», а А. Блок в поэме «двенадцать» употребляет новое слово – «буржуй», потому что последнее передает отношение говорящего к этому социальному слову, отношение отрицательное); в-третьих, власть *упрощает синтаксис, грамматику – убирает «еры» и «яти» и т.п.*; власть осознала, что изменить язык ей под силу только в одном направлении – в направлении его

громадного упрощения, опускания до уровня неграмотного человека. В. В. Путин после вступления в должность Президента РФ заговорил языком, для государственного деятеля такого уровня совершенно невозможным – «мочить в сортире» и т.п., и сделал это потому, что нутром политика понял – не важно, как это воспримут за рубежом; важно то, что страна президента, говорящего ТАКИМ ЯЗЫКОМ, признает как реальную власть: тот, кто позволяет себе публично ТАК говорить, это сделает!

Наконец, если не забывать, что подлинным творцом языка является народ, то следует констатировать, что язык советского общества создавался самим обществом в процессе социалистического строительства, и здесь власть и народ в этом творчестве шли рука об руку. Консервативность общественного сознания отвергала при этом авангардные попытки построения «языка революции», какими бы блестящими образцами они ни были представлены. Тот же П. Вайль, вспоминая Андрея Платонова и его уникальный язык, пишет: «Язык, сопоставимый по мощи с тем явлением, которое он отражал. Революция октябрьская - грандиозное явление, самое грандиозное, какое только было в XX веке, и единственный аналог ему – Андрей Платонов». [69; 169]. Попробуйте вообразить теперь человека, который заговорил бы на языке Андрея Платонова; сразу становится понятно, что это язык **только** Платонова, это язык человека, который создал новую, мысленную Вселенную социализма. Многим ли людям доступна задача строительства вселенной, пусть виртуальной?! И потом, в позиции и советских, и постсоветских критиков сквозит наивная уверенность, что Платонов апологет этой вселенной. По моему убеждению, он живописал вариант Дантова ада, и его невероятный по творческой, изобразительной мощи язык наилучшим способом доказывал – это ад! Изложите теорию социализма Маркса – Ленина языком А. Платонова, и перед вами предстанет Кампучия времен Пол Пота и Йенг Сари.

В отличие от П. Вайля, К. Маркс был уверен в необходимости и неизбежности управления языковыми процессами в коммунистическом

обществе: «Впрочем, в любом современном развитом языке естественно возникшая речь возвысилась до национального языка отчасти благодаря историческому развитию языка из готового материала, как в романских и германских языках. отчасти благодаря скрещиванию и смешению наций, как в английском языке, отчасти благодаря концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленный экономической и политической концентрацией. *Само собой разумеется, что в свое время индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода*». [70; 427].

Как большевики пытались в послереволюционный период влиять на языковые процессы, неоднократно описывалось в литературе. [71; 107 – 109]. Начав с мечты двоечников – упрощения правописания (упразднения нескольких букв - ерь, ять, фита, ижица и т.п.) и переименования всего того, что в языке связывалось с представлением о Боге, царях и империи (замена в календарях слова «воскресенье» на «выходной день», «церковных» имен на «революционные», наименований городов в честь царей и цариц на имена деятелей революции и т.п.), большевики планировали кардинальную реформу русского языка. Особенное внимание в 1920 – 1930-х гг. уделялось задаче замены кириллицы латиницей, и мотивация была вполне логичной: «смена письменности позволила бы предать забвению общественное бытие прошлого политического режима». [71; 108] Кириллица рассматривалась в качестве своего рода графического барьера на пути объединения пролетариев всех стран, и работа по ее замене в Наркомате просвещения шла полным ходом. Конец ей положил И.В. Сталин, проведя соответствующий запрет решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 26 января 1930 г. [71; 108]

В. М. Сергеев (по образованию инженер-энергетик (МЭИ) и математик (МГУ)) обронил естественную для такого специалиста мысль: «Изменения в языке описания не могут не привести к коренному изменению теории». [72;. 28]. Соответственно верна и обратная мысль: если хочешь коренным образом изменить теорию, измени язык описания. В сущности,

вполне библейская мысль: не вливай новое вино в старые мехи! К этой мысли в понимании сущности социализма в начале 1950-х годов пришел И. В. Сталин, по-видимому, осознавший, что невозможно в терминах «Манифеста Коммунистической партии» (1848 г.) описывать реальный социализм и попытавшийся инициировать обсуждение проблем языкознания – кампании, партией и обществом не понятой.

«Новояз» советской эпохи для современного человека, а молодого человека – студента – в первую очередь, содержит массу совершенно незнакомых слов и выражений. Уже в 1960-70-е гг. мало кто мог объяснить, что такое контракция, волисполком, комбед, синдикат, кто такой «кустарь без мотора» и т.п. Современные студенты-первокурсники не в состоянии расшифровать такие аббревиатуры, известные буквально каждому советскому человеку, как ВЦСПС, ВЛКСМ, МТС (машинно-тракторная станция), даже КПСС, не говоря уже о таких аббревиатурах, как РККА, ВЦИК, СНК и т.п. Пару лет назад студентка-первокурсница на экзамене по истории государственного управления в России на просьбу объяснить, что такое СНК, подумав, ответила, что это Совет Народных ...Коммерсантов!

В понимании ключевых терминов предшествующей эпохи молодое поколение может проявлять вопиющую (с точки зрения старшего поколения) безграмотность; например, первокурсники не могут раскрыть содержание понятия «революция», что преподавателям, окончившим вузы в советскую эпоху, кажется диким. Однако авторы труда «Категории политической науки» напоминают, что до 1789 г., то есть до начала Великой французской революции, этого слова в его современном понимании не было ни в одном языке ни одного народа. [73; 382]. Можно предположить, что в октябре 1917 г. далеко не всякий образованный человек в России был в состоянии связно объяснить, что такое революция.

Старательно копируя во многих отношениях Великую французскую буржуазную революцию, большевики отчасти заимствовали и терминологию якобинцев (комиссар, декрет, декларация, гражданин...).

Прагматический вывод из осознания исторического характера множества используемых нами терминов заключается в том, что сегодня, в переходную эпоху, преподавателю необходимо разъяснять смысл и значение терминов, для него само собой разумеющихся, а для студентов относящихся ко временам «Очакова и покоренья Крыма»...

Советский «новояз» (считается, что термин ввел в оборот Джордж Оруэлл) в романе «1984») поразил современников и не устает удивлять всех, ныне изучающих историю советского периода, необычно обильным количеством аббревиатур. Хотя появление аббревиатур лингвисты связывают со стилем канцелярского делопроизводства в военных ведомствах Европы в период 1 мировой войны, но революционная Россия и на этом фоне заметно выделялась их множеством. Возможно, этого требовал резко ускорившийся темп жизни и революционных преобразований общества, то, что эти преобразования происходили на фоне Гражданской войны и последующей установки «догнать и перегнать», когда лозунг «Время, вперед!» стал стилем жизни. Во всяком случае, язык заполнили аббревиатуры вроде РКП (б), ВЦСПС, СНК, ВЦИК, ВЧК (с последующей трансформацией в ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ), ЭКОСО при МОСО и даже Чеквалап (Чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей). Армия поражала своими «ружпулькомандами» (ружейно-пулеметная команда), ЗК (заместитель комиссара; в последующем аббревиатура приобрела иной, пугающий смысл) и знаменитый «замкомпоморде» (заместитель командира по морским делам). В 1920-первой половине 1930-х гг. в связи с отсутствием воинских званий к армейским командирам обращались по должности; выговорить быстро и точно название такой должности как «помощник начальника оперативного управления штаба округа» и еще более длинные наименования было не просто, поэтому шли по пути создания аббревиатур.

Между собой управленцы всех уровней буквально общались на аббревиатурах. В.Солоухин приводит любопытный эпизод, свидетелем которого он стал во время поездки на охоту с секретарем одного из



райкомов Владимирской области. Навстречу машине из перелеска выбежал мужик и крикнул секретарю в приоткрытое окно: «Тут КРС не пробежал?» – Секретарь довольно равнодушно ответил: «Нет, не видели». Мужик побежал дальше, а секретарь на удивленный вопрос писателя – «Что такое КРС?» – так же спокойно ответил: «Крупный рогатый скот. Это местный заведующий фермой, видно, коров не досчитался». Как видно из этого эпизода, и в обыденном общении мелкий руководитель стал говорить на языке отчетов...

Советский язык был языком бюрократическим. В 1930-х гг. вместо термина «квартира», например, был в ходу термин «жилая ячейка» (в соответствии с планами социалистического переустройства жилища и ликвидации отдельных квартир); позднее стал употребляться термин «жилплощадь». Вместо слов «лес», «парк» употреблялся термин «зеленый массив» и т.д.

Особенностью советского «новояза» была вопиющая безграмотность руководителей партии и правительства. Некоторые из них произвольно расставляли ударения в словах, другие не могли выговорить отдельные слова (М. С. Горбачеву, например, не удавалось выговорить «Азербайджан»), иные выстраивали совершенно нелепые грамматические конструкции (Ельцин, Черномырдин)... Как тут не согласиться с мыслью В. В. Кабанова: «Неграмотная речь – просто невежество, неграмотная речь вождя – оскорбление языка и народа. И наоборот, культура речи руководителя государства – гордость нации». [24; 511].

Еще одна особенность советского языка – его необычайная насыщенность выражениями блатного жаргона. Еще удивительнее то, что после смерти И. В. Сталина и массовой реабилитации политических заключенных блатной жаргон и лагерные песни стали популярны в кругу советской интеллигенции, являясь, по-видимому, формой своеобразного «кухонного» протеста против официальной идеологии.

Общая черта большинства письменных источников советского периода – их несоответствие (в той или иной степени) реалиям жизни, что породило в советском языке во-первых, такой элемент реального живого языка, как Эзопов язык, а во-вторых, ернический, издевательский, анекдотический язык народа, сопровождавший официальные документы партии и правительства и речи политических вождей.

Постсоветский период также породил огромное количество новых словообразований, выросших и на отечественной почве, и заимствованных из-за рубежа; впрочем, терминология этого этапа истории заслуживает отдельного анализа.

Итак, развивая науку государственного управления, необходимо постоянно совершенствовать язык этой науки, с тем чтобы он отвечал предъявляемым к любому научному языку требованиям: позволял описать в адекватных их сущности понятиях объект и предмет научного знания; был ясным, логичным; современным (не содержал архаизмов, непонятных широкому кругу специалистов-практиков и, одновременно, изучающих государственное управление); был национальным (не был бы перегружен иноязычными терминами, которые не всегда правильно и точно употребляют, а также позволял бы в терминах живого национального языка описывать процессы, имеющие место в системе государственного управления на основе цивилизационной и социокультурной специфики страны).

Как уже отмечалось в статье первой настоящего цикла, в Российской Федерации эти требования не всегда и не в полной мере соблюдаются, что вполне объяснимо как начальным этапом становления науки о государственном управлении, так и теми обстоятельствами, что специфический характер советского государственного управления не позволяет прямо и непосредственно использовать в современной управленческой практике этот значительный исторический опыт непосредственно, без глубокой переработки и прецизионного вычленения

из этого опыта тех элементов его, которые могут быть использованы в современном государственном управлении.

Разрабатывая и совершенствуя язык науки, необходимо иметь чувство меры: с одной стороны, создавать язык науки таким, чтобы он не утратил связь с живым национальным языком, оставался бы языком национальной культуры, своего «цивилизационного типа», а с другой – был бы именно *научным языком*, не позволяющим профанировать заложенный в научные тексты смысл. В социологии, где проблемами языка науки начали заниматься существенно раньше, на эту сторону обратил внимание П. Бурдьё: отвечая на обвинения в нарочито трудном, особом стиле его научной речи, Бурдьё заявил, что это необходимо, ибо позволяет уберечь науку «от искажений и ложных толкований ..., от наивных проекций здравого смысла». [74;104-105] Для становления языка ГМУ это имеет особенно большое значение ввиду своеобразной отечественной «традиции» в кругах российской интеллигенции – воспроизводить убеждение, будто она, интеллигенция, всегда готова непосредственно управлять государством.

Язык истории государственного управления, как явствует из вышеизложенного, может и должен иметь двоякую природу в силу двух ориентаций истории и историка – на прошлое и на настоящее (М. Блок). Первая ориентация ставит своей задачей понимание и на его основе объяснение, вторая – знание, и на его основе – выявление причинно-следственных связей, а стало быть, установление закономерностей. Ясно, что ни первая, ни вторая ориентация не могут заменить одна другую, но могут только сосуществовать на принципе дополнительности. Соотношение этих ориентаций определяется конкретно-историческими обстоятельствами и тем, что называют запросом времени.

И в завершение темы: в учебной программе специальности «ГМУ» с переходом от специалитета к бакалавриату произошло четырехкратное сокращение учебного курса «История государственного управления в России». Между тем в обществе и кругах специалистов интерес к истории

России и истории государственного управления по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Германский историк Г. Люббе, задавая вопрос, «почему составной частью именно современного мира является историзм, т.е. специально организованная исторически беспрецедентная по размаху и интенсивности культура историографического изображения собственной и чужой культуры», отвечает на него вполне убедительно: «доступ к идентичности открывается только через истории». [75; 111] Только осознав собственную идентичность во всем ее своеобразии, мы сможем выработать внятную и отвечающую вызовам времени государственную политику, сформулированную в терминах, понятных чиновнику и гражданину.

### **Библиографический список**

1. См.: Современные проблемы управления. Выпуск 2. Сб. науч. ст. / Под ред. В.Б. Тасеева. – Самара: Издательство «Глагол», 2010. С. 72 -106; Экономика, финансы и управление в современных условиях. Выпуск 3 (5). Межвуз. сб. науч. ст. / Под общ. ред. Н.М. Тюкавкина. – Самара: Издательство «Глагол», 2011. С. 128 – 171; Современные проблемы управления. Выпуск 4: Сборник научных статей./ Под ред. С.А. Ключникова. – Самара: Издательство «Глагол», 2012. С.16 – 67.

2. Не будучи ни профессиональным историком, ни лингвистом, автор, разумеется, берет на себя смелость лишь поставить проблему языка истории ГМУ и указать на некоторые особенности этого языка. Сознает автор и то обстоятельство, что проблема языка истории ГМУ необычайно сложна, поскольку ее решение в методологическом отношении должно базироваться на языке исторической науки в целом, который сам в настоящее время представляет неразрешенную проблему.

3. Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке.// Философия и методология истории. – М., 1977. С. 31 – 71.

4. Международная научная конференция на истфаке МГУ «Может ли история быть объективной?»//Новая и новейшая история. 2012. № 3 (май – июнь). С. 3 – 40.

5. Овчинников А.П. Проблемы становления языка теории и истории государственного и муниципального управления. Статья третья: Метафора и другие тропы в языке ГМУ.//Современные проблемы управления. Выпуск 4. Сб. науч. ст. /Под ред. С.А. Ключникова. – Самара: Изд-во «Глагол», 2012. С.16 – 67.

6. Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. – М.: Изд – во Моск. ун – та, 1983. – 440 с. (курсив мой – А.О.)

7. Ключевский В.О. Терминология русской истории. //Сочинения: В 9 т. Т. У1. Специальные курсы/ Под ред. В.Л. Янина.Послесл. Р.А. Киреевой; Коммент. составили В.Г.Зими́на, Р.А. Киреева. – М.: Мысль, 1989. – 476 с.

8. См., напр.: Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник./ Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 487 с.

9. Февр Люсьен. Бои за историю /Пер. с фр., - М.: Наука, 1991. - 629 с.

10. См.: Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей. – В кн.: Февр Люсьен. Бои за историю./Пер. с фр. – М.: Наука, 1991. – 629 с. – Л. Февр с сожалением пишет: «У нас очень беден инструментарий – скажем честно, мы вовсе не вооружены, чтобы изучать историю слов, недавно появившихся в нашем языке» (С.241), после чего дает такой перечень серьезных научных трудов по этой проблеме, что невольно замираешь в восхищении, думая про себя, что если уж французы в этом отношении бедны, то мы – поистине нищие... (См. С. 241 – 255).

11. Блок Марк. Апология истории или ремесло историка. Изд.2-е, доп. /Пер. с фр. – М.: Наука, 1986. – 256 с. - См.: «Терминология». С. 89 – 107. – Курсив мой – А.О.

12. Там же. (Курсив мой. – А.О.).

13. Сартр Жан Поль. Проблемы метода./Пер. с фр. – М.: Академический Проект. 2008. – 222 с.

14. Гемпель Карл Густав. Логика объяснения./ Составл., перевод, вступит. статья, прилож. О.А. Назаровой. – М.: Дои интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. – 240 с.

15. Волф Т. Историк как философ и учитель.//Новая и новейшая история. 2012. № 5. С. 143 – 150.

16. Lachs J. The Past, the Future and the Immidiate. – Transactions of the Charles S. Pierce Society, v. 39, issue 2.

17. См.: Зиновьев А.А. Исповедь отщепенца. – М., 2005. С. 255-258 и др.

18. Калимонов И. К. Преподавание теории и методологии истории в Казанском университете.//Новая и новейшая история. 2007. № 3. С.156-165.

19. Даже в научных работах воспроизводится, например, распространенный миф (скорее, анекдот) о профессоре Бехтерева, который, якобы, осмотрев Сталина в его кабинете, вышел в приемную и громогласно - русский врач, психиатр, давший профессиональную клятву хранить врачебную тайну! - объявил всем присутствующим: «Все ясно! Паранойя!» Любопытно и то, что как советские, так и постсоветские историки не находя рациональных объяснений поступкам и решениям некоторых русских государей, в частности, Ивана 1V (Грозного), и в качестве спасительного аргумента выдвигают удивительное по эвристической «мощи» объяснение – паранойя. Между тем идеологи современной РПЦ дают совершенно рациональные объяснения мотивов этих деяний, именно рациональные, государственно мотивированные, не прибегая ни к какой мистике и суевериям, как например, Иоанн, архиепископ Санкт–Петербургский и Ладожский. – См.: Иоанн, митрополит СПб и Ладожский. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. – СПб.: Изд-во «Царское дело», 1995. Причины очевидны: традиция, одинаковые культурные коды, одни и те же ценности, один и тот же язык.

20. Цит. по: Калимонов, с. 164; тот, в свою очередь: Ширафжанов И. И. Английская историография в XX веке. Основные теоретико-

методологические тенденции, школы и направления. Казань, 2004. С. 178-190)

21. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. /Пер. с англ. и коммент. Ю.А. Асеева. – М.: Наука, 1980. - 486 с.

22. См., напр.: Ракитов А.И. Историческое познание. Системно-гносеологический подход. – М.: Политиздат, 1982. – 303 с.

23. Семиотика. /Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. с.23).

24. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории. Учебное пособие для гуманитарных специальностей. / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: Российск. гуманит. ун-т, 1998. – 702 с.

25. Хвостова К. В., Финн В. К. Гносеологические и логические проблемы исторической науки. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Наука, 1995. – 176 с.

26. Минц И.И. О методологических вопросах исторической науки. // Вопросы истории. 1964. № 3.

27. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч.1. Роль среды. – М., 2002. (Курсив мой. – А.О.) Анализ методологии Броделя см.: Методологический синтез: прошлон, настоящее, возможные перспективы./Под ред. Б.Г. Могильницкого, Ю.И. Николаевой. Гл. 1. – М.: Логос, 2005. – 192 с.

28. См.: Международная научная конференция на истфаке МГУ «Может ли история быть объективной?»//Новая и новейшая история. 2012. № 3 (май-июнь).

29. Эйдельман Н. Урок истории – вся жизнь. //Знание – сила. 1987. № 1. С. 89 – 96.

30. Василенко И. А. Эволюция сравнительного метода в общественно-политических науках. //Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Политические науки. 2009. № 4. С. 31 – 46. (Курсив мой. – А.О.)

31. Зиновьев А. А. Исповедь отщепенца. – М., 2005. (Курсив мой. – А. О.)
32. Шипилов А. В. О бедности и богатстве (Некоторые факты из истории русской литературы). //Общественные науки и современность. 2008. № 5. С. 163 – 175.
33. Кара-Мурза С. Г. Кризис России и этничность: упорядочение понятия.//Социально-гуманитарные знания. 2007. № 2. С. 22 – 38.
34. Мизес, Людвиг фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. /Пер. с 3-го англ. изд. А. В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2005. – 878 с.
35. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа. //Русская словесность. 1997. С. 227 – 244.
36. Бультман Р. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия. //Вопросы философии. 1992. № 11.
37. Хейзинга Йохан. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIУ и ХУ веках во Франции и Нидерландах./Пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова. -5-е изд. М., 1988.
38. Маковский М. М. Удивительный мир слов и значений: Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике. – Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1989. – 200 с.
39. Кожин В. В. От Византии до Орды. История Руси и русского слова. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. – 560 с.
40. Литературная учеба. 1991. № 1. (Редакционная статья).
41. Белл Д. Возобновление истории в новом столетии. (Предисловие к новому изданию книги «Конец идеологии»). //Вопросы философии. 2002. № 5. С. 13 – 25.
42. Сендеров В. А. Вне правого и левого. //Вопросы философии. 2006. № 10. С. 93 – 96.



43. Живов В. М. Наука выживания и выживание науки.//Новое литературное обозрение. 2005. № 74.
44. Fucuyama F. The End History and the Last Man. New Jork. 1992.
45. Савельева И.М., Полетаев А.В. История в пространстве социальных наук.//Новая и новейшая история. 2007. № 6. С. 3 – 15.
46. Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы.- В кн.: Лихачев Д.С. Великое наследие. 2-е изд., доп. – М.: Современник, 1980. – 412 с. См. также: Прокофьев Н.И. Древняя русская литература. Хрестоматия. Учеб. пособие для студентов нед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». /Сост. Н.И.Прокофьев. – М.: Просвещение, 1980. – 399 с.
47. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка ХУП – ХIХ веков. 3-е изд. – М.: 1982.
48. Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре. //Вопросы языкознания. [1927]. 1990. № 2. С. 123 – 139; № 3. С. 114 – 134.
49. Мечковская Н. Б. Язык и религия. Пособие для студентов гуман. вузов. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 352 с.
50. Виноградов В. В. Литературный язык. С. 288 – 297. – В кн.: Виноградов В. В. История русского литературного языка. Избранные труды. – М.: Наука, 1978.
51. Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1989. Проблеме литературного языка посвящены также такие работы, как: Колесов В. В. Введение в историческую филологию – Л., 1982; Колесов В. В. История русского языка в рассказах. – М., 1982 и др.
52. Колесов В.В., 1989, с.6; Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка. – М., 1983.
53. Shaw Bernard. Plays. Pygmalion. The Apple Cart. – СПб.: Antology, 2008. 320 p.
54. Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода.- М.; Л., 1946.; Колесов В. В. 1989. С. 4.

55. Виноградов. Вопросы образования русского национального языка. – В кн.: История русского литературного языка. Избранные труды. – М.: Наука, 1978.

56. Виноградов В.В. Основные этапы истории русского языка. //История русского языка. Избранные труды. – М.: Наука, 1978 – 320 с.

57. Виноградов В. В. Изучение образования и развития древнерусского языка. – В кн.: Виноградов В. В. История русского литературного языка. Избранные труды. – М.: Наука, 1978 С. 65 – 151.

58. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа. //Русская словесность. С. 227 – 244.

59. Никифоров А. Л. Специфика описания в истории и социальных науках. //Вестник Моск. ун-та. Серия 7. Философия. 2010. № 3. С. 107 – 119. – Другие особенности исторического описания см. у данного автора на с. 111- 119.

60. Солонин М. На мирно спящих аэродромах. – М.: Яуза – Эксмо, 2006.

61. Солонин М. Новая хронология катастрофы 1941. /Марк Солонин. – М.: Яуза; Эксмо, 2010. – 352 с.

62. Лукин А. В., Лукин П. В. Мифы о российской политической культуре и российская история. // Политические исследования. 2009. № 1. С. 56 – 70.

63. Архимандрит Рафаил (Карелин). Значение славянского языка для православного богослужения. //Москва. 2008. № 6. С. 239 – 240.

64. . Ломоносов М.В. Предисловие о пользе книг церковных. // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. Под ред. проф. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997.

65. Барт Р. Лекция, прочитанная при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Коллеж де Франс 7 января 1977 г. //Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. /

Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. - М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 616 с.

66. Режабек Е. Я Становление мифологического сознания и его когнитивность.//Вопросы философии. 2002. № 1. С. 52 – 66. – Режабек оспаривает при этом тезис К. Поппера о мифе как знаковой системе, которая разводит образ и предмет; напротив, миф закрепляет отождествление образа с предметом.

67. Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления. // Слово и миф. – М., 1989.

68. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М., 1975.

69. Вайль П. Что у нас на языке.//Архангельский А. Важнее, чем политика. – М.: АСТ; Астрель, 2011. – 317 с.

70. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Издание второе. Т. 3. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. 629 с.

71. См., например: Муллагалиева Л. Управление языковыми процессами в условиях глобализации.//Государственная служба. 2012. № 1 (январь – февраль).

72. Сергеев В. М. Пределы рациональности. М., 1999.

73. Категории политической науки. Учебник. – М.: МГИМО (У), РОССПЭН, 2002. – 656 с.

74. Бурдые П. Социолог под вопросом.//Социологические исследования. 2003. № 8.. С. 104 – 113 . – К данной работе П. Бурдые внимание автора привлекла статья Н. В. Романовского в журнале «Социологические исследования».

75. Люббе Герман. Историческая идентичность.//Вопросы философии. 1994. № 4.